



К. Рейтер • ШЕЛЬМУФСКИЙ

К. Рейтер



ШЕЛЬМУФСКИЙ

К. Рейтер · Шельмуфский

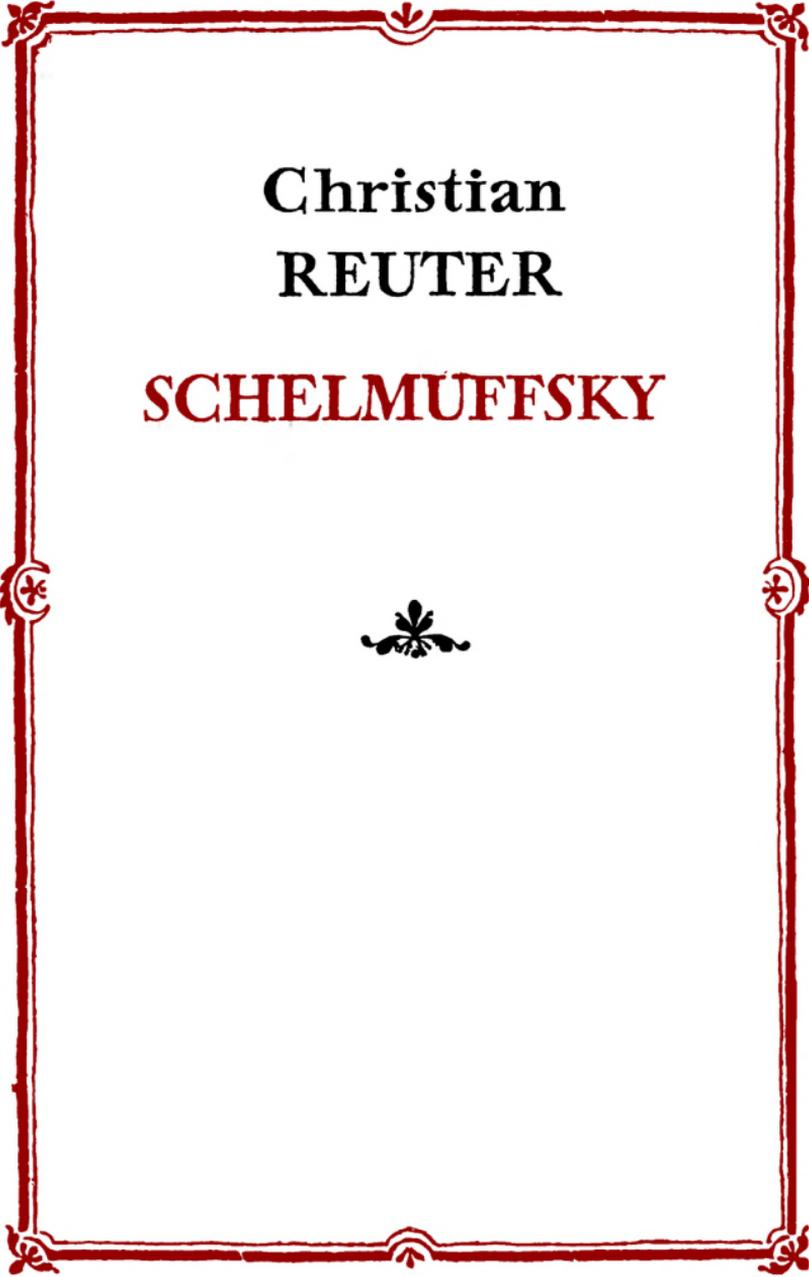


К. Рейтер
ШЕЛЬМУФСКИЙ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

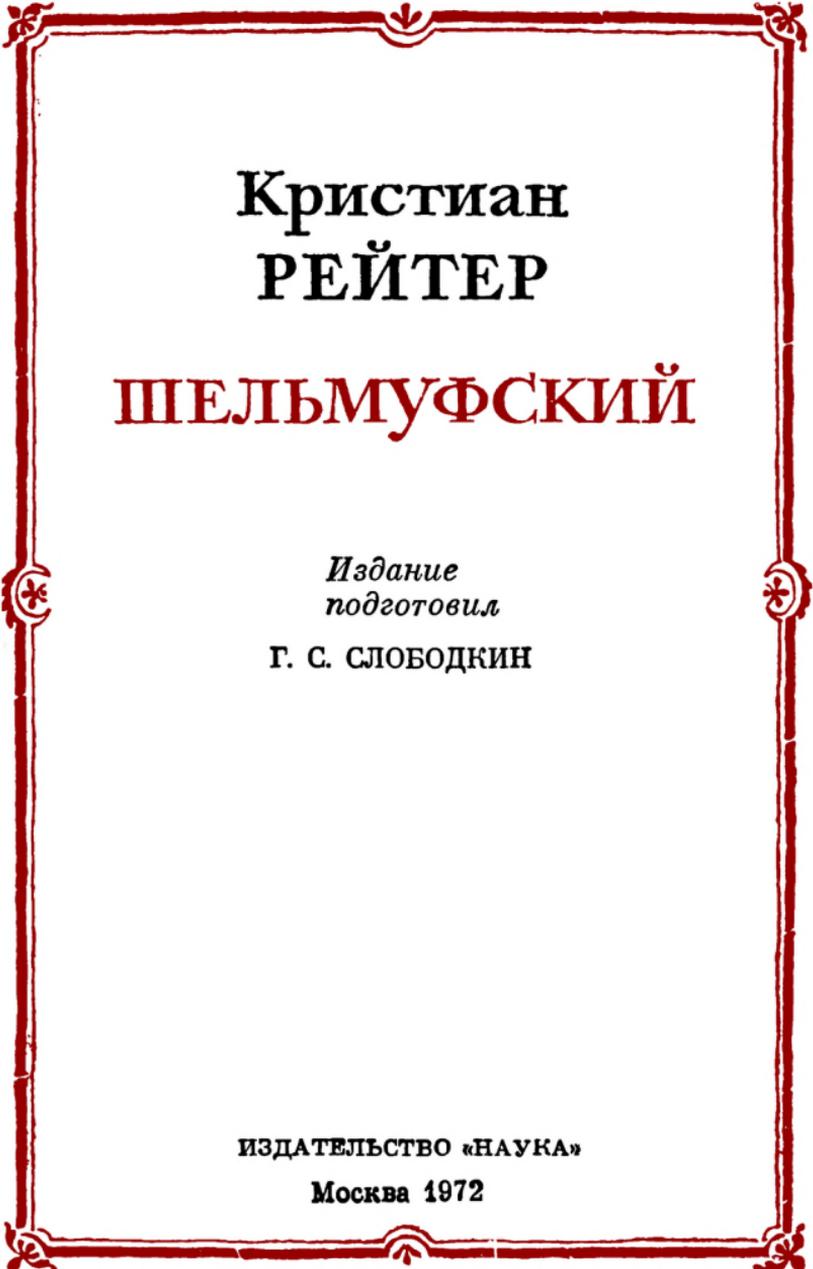




**Christian
REUTER**

SCHELMUFFSKY





Кристиан
РЕЙТЕР
ШЕЛЬМУФСКИЙ

*Издание
подготовил*

Г. С. СЛОБОДКИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва 1972

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

*М. П. Алексеев, Н. И. Балашов,
Д. Д. Благой, И. С. Брагинский,
А. А. Елистратова, В. М. Жирмунский,
Н. И. Конрад* (председатель), *Д. С. Лизачев,
Д. В. Ознобишин* (ученый секретарь),
*Ю. Г. Оксман, Ф. А. Петровский,
А. М. Самсонов, С. Д. Сказкин,
С. Л. Угченко*

Ответственный редактор

Б. И. ПУРИШЕВ

Редактор перевода

М. Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК

О П И С А Н И Е
ИСТИННЫХ, ЛЮБОПЫТНЫХ И ПРЕОПАСНЫХ
СТРАНСТВОВАНИЙ
НА ВОДЕ И НА СУШЕ
ШЕЛЬМУФСКОГО

Первая часть
и притом
самое совершенное и самое точное
ИЗДАНИЕ,
собственноручно и весьма искусно
выпущенное в свет
на родном верхненемецком
языке
Е. Ш.



Отпечатано в Шельмероде,
в году 1696

ВЫСОКОРОДНОМУ
ВЕЛИКОМУ МОГОЛУ¹
(СТАРШЕМУ)

всемирно прославленному королю,
а верней,
императору Индии
в Агре²
и прочая и прочая

*Некогда весьма дружественно
расположенному ко мне государю
в период моих преопасных
странствований*



Высокородный
государь и пр.!

Я был бы, черт подери, поистине неблагодарным малым, если б не помышлял о том, как я могу отплатить за оказанное мне Вашим Высокородным Величеством благодеяние, коим я наслаждался в продолжение целых четырнадцати дней³; и я бы давно это исполнил, если б только ведал, как я мог бы доставить удовольствие Вашему Высокородному Величеству. Сначала было намеревался я отправить Вашей Милости и Вашей Возлюбленной Супруге бочоночек доброго густого пива из наших краев, но побоялся, что в дальней дороге оно потеряет вкус и скиснет и Вы тогда не сможете его вылакать, потому я и не довел эту затею до конца.

Но после того, как я вытащил из-под лавки описание своих истинных, любопытных и преопасных странствований на воде и на суше и выпустил его в свет, я вознамерился послать Вам один экземпляр, переплетенный в свиную кожу, особливо зная, что Ваша Милость и Высокородное Величество являются необычайным любителем любопытных книг и всяких новинок, а ведь я обещал прислать из Германии в Индию такую книгу в благодарность за деньги и добрые слова.

Не прошу я, черт меня подери, за нее ни гроша, хотя она и содержит кое-что любопытное, а только желаю, чтобы Ваше Высокородное Величество убе-

дилось в том, как я благодарен, и надеюсь, что она Вашему Величеству понравится. Много хвалиться ею я не буду, Вы увидите, черт меня подери, что «дело мастера боится», и если вы ее прочтете, то я прошу, чтобы Ваша Милость и Высокородное Величество рекомендовали ее прочесть также и Вашей Возлюбленной Супруге, дабы и она убедилась, каким молодцом я был и как, в конце концов, мне не повезло в Испанском море⁴. Напоследок пусть Ваша Милость поминает меня добром и живет в благоденствии, а я остаюсь

усерднейшим и всегда готовым
к странствиям слугой
Вашего Высокородного Величества,
а также
и супруги Вашей,
Шельмуфским



Я, черт меня поberi, настоящий лодырь, если так долго держал заброшенным под лавкой правдивое и любопытное описание своих преопасных странствований, составленное мной уже немало времени тому назад, а не вытащил его оттуда давно! А почему? Иной, черт возьми, едва услышит одно название какого-нибудь города или страны, как тотчас же садится и кропает об этом сочинение на десять томов, и, когда прочтешь такую чепуху (особливо если кто так молодецки странствовал, как я), сразу видишь, что он никогда и носу за дверь не высовывал, не говоря уже о том, чтобы испытать на чужбине, как я, препакостные бури. Пожалуй, могу признаться, что если бы я, проведя столько лет в Швеции, столько в Голландии, да еще столько в Англии, и к тому же целых четырнадцать дней в Индии, а окромя того, пошатавшись почти по всему белому свету, так много перевидавший, испы-

тавший и претерпевший, рассказал обо всем, то у людей от этого увяли бы уши. Я никогда не хвастал и не бахвалился своими странствованиями, разве что рассказывал о них подчас только добрым друзьям за кружкой пива.

Дабы, однако, весь мир услышал и узнал, что я не всегда сидел за печкой и таскал у госпожи моей матушки из духовки печеные яблоки, намерен и я также выпустить в свет такое описание моих порой преопасных странствований и рыцарских деяний на воде и на суше — а равно и моего плена в Сен-Мало¹, — какое еще никогда не печаталось, и тем, кто со временем захочет поглядеть на чужие страны, оно пойдет на великую пользу. Но коли я узнаю, что кто-то не поверит тому, что я написал с таким трудом и усердием, мне, черт меня побери, будет очень жаль, что я потратил немало перьев. Я надеюсь, однако, что любознательный читатель не будет недоверчив и не сочтет это описание моих преопасных странствований за враки и пустое хвастовство, ибо, провалиться мне на этом месте, если все здесь — не чистая правда и если я, черт возьми, выдумал хотя бы одно словечко!

А впрочем, мне было бы приятно услышать, чтобы кто-нибудь сказал: такого описания странствий я не читал никогда в жизни. Случись это, я заверяю каждого, что со временем я не только вытащу из-под лавки и вторую часть правдивого и любопытного описания моих преопасных странствований на воде и на суше, по восточным странам и городам, а также по Италии и Польше, но и навеки останусь

слугой любознательного читателя,

всегда готовым к странствиям

Шельмуфским.



Германия — мое отечество, в Шельмероде я родился, в Сен-Мало провел целых полгода в плену, да и в Голландии и Англии я тоже побывал. Дабы, однако, изложить мои опаснейшие путешествия в надлежащем порядке, мне придется, пожалуй, начать рассказ с моего необычайного рождения. После того, как госпоже моей матушке не удалось пришить метлой огромную крысу, которая изгрызла ее новое платье (ибо она прошмыгнула между ног моей сестры и внезапно скрылась в щели), почтенная женщина в гневе лишилась чувств и так захворала, что пролежала целых двадцать четыре дня и не могла, черт меня побери, ни пошевелиться, ни повернуться. Я же, в ту пору еще ни разу не видевший мира божьего и, согласно

правилам «Арифметики» Ризена¹, обязанный спокойно пребывать в укромном месте еще целых четыре месяца, так взбесился из-за этой чертовой крысы, что в нетерпении не мог больше скрываться и, заметив дыру, не заделанную плотником, выскочил что было духу на четвереньках на свет. Появившись, я пролежал добрых восемь дней в ногах госпожи моей матушки на соломенном тюфяке, пока, наконец, хорошенько не разобрался, куда я попал. На девятый день взглянул я с превеликим удивлением на мир и — пропади ты пропадом! — каким скверным показался он мне! Был я очень хил, ничего не имел на теле; госпожа моя матушка, казалось, протянула ноги, будто ее по башке треснули. Реветь мне не хотелось, ведь был я совсем голый, словно молодой поросенок, и не желал, чтобы кто-нибудь застал меня в подобном виде. Вот так и лежал я, не ведая, за что взяться. Я было решил опять забраться в укромное место, да не смог, черт возьми, отыскать ту дорогу, по которой вышел.

Наконец, подумал я, ты должен приободрить госпожу свою матушку и начал это делать всяческими способами: то хватал ее за нос, то давал щелчки или вырывал несколько волосков, то ударял ее по титьке. Однако она не просыпалась. В конце концов я взял соломинку и пощекотал в ее левой ноздре, отчего она быстро вскочила и завопила: «Крыса! Крыса!» Услышав слово «крыса», я, черт подери, почувствовал себя так, словно кто-то провел мне бритвой под языком, и тотчас же начал ужасно вопить: «Ой, ой, ой!» Но если госпожа моя матушка и до этого кричала «крыса! крыса!», то теперь она орала наверно сотню раз подряд: «крыса! крыса!», — полагая, что именно крыса угнездилась у ее ног. Я же приподнялся, взобрал-

ся весьма ловко навверх к госпоже моей матушке, взглянул на нее из-под одеяла и молвил: «Только не пугайтесь, госпожа матушка, я не крыса, а ваш милый сын; а вот в том, что я так рано появился на свет, доподлинно виновата крыса». Ей-ей! Как обрадовалась госпожа моя матушка, что я появился на свет так неожиданно, а она об этом совершенно ничего не знала. И сколько раз она меня и обнимала, и поцелуями вылизывала, этого, черт подери, я не могу вам и передать!

Понявчив меня таким образом немало времени, она встала, надела на меня белую рубашку и созвала всех постояльцев нашего дома, которые диву давались и не знали, что обо мне подумать, потому что я уже мог так мило болтать. Господин Герге², тогдашний духовный наставник моей матери, решил, что я одержим злым духом, иначе не могло бы это со мной приключиться, и он пожелал тотчас же изгнать из меня беса. Он поспешил навверх в свою ученую каморку и приволок под мышкой огромную книгу, каковой и намеревался изгнать из меня злого духа. Мелом он начертил в комнате большой круг, написал в нем кучу тарабарщины, начертил кресты спереди и сзади, вступил в круг и произнес следующее:

Фокус-покус черно-белый,
Ты оставь младенца тело.
Я герр Герге. Мой приказ:
Шури-мури, съройся с глаз! *

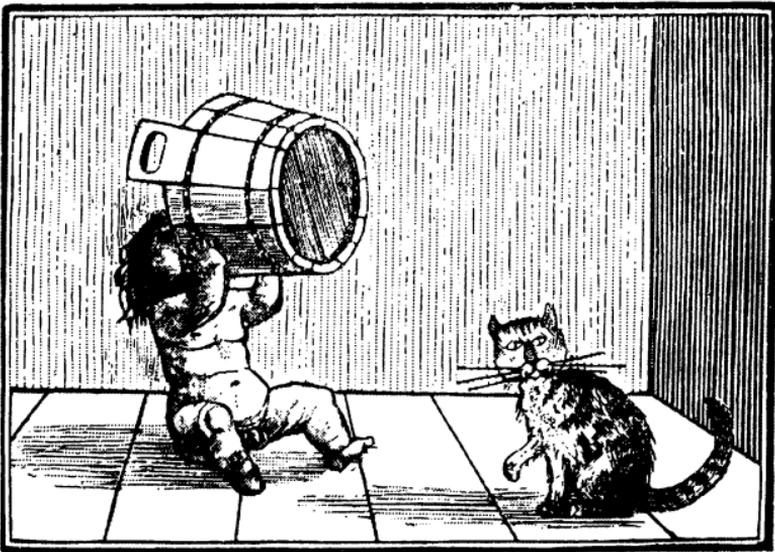
Когда господин Герге закончил, я обратился к нему и сказал: «Мой любезный господин наставник, зачем Вы занимаетесь такими фокусами и полагаете, что я

* Перевод стихов здесь и далее И. Вожика.

одержим злым духом? Если бы Вы знали причину, отчего я сразу заговорил и так преждевременно появился на свет, Вы не затевали бы этих дурацких церемоний с Вашими фокусами-покусами». Ну, и проклятие! Как удивились все в доме, услышав, что я говорю. Господин Герге, черт подери, стоял в своем кругу, трясся и дрожал, и по запаху все присутствующие могли догадаться, что он находился отнюдь не в саду с розами. Я же не мог дольше созерцать его жалкий вид и начал рассказывать о своем необычном рождении и о том, что единственной причиной его была та крыса, что изгрызла шелковое платье и благодаря которой я так преждевременно появился на свет и сразу начал говорить. После, когда я очень подробно рассказал всем соседям историю с крысой, они твердо убедились в том, что я сын госпожи своей матушки. Господина же Герге, как нашкодливую собаку, охватил стыд за то, что он затеял такие дурацкие штуки, полагая, будто во мне говорит злой дух. Он вышел из своего «фокуснического» круга, стер его, взял книгу и молча направился к выходу в своих мокрых и вонючих штанах. И как же потом все начали лобызать меня и ласкать, и забавлять, ибо я был очень красивый мальчуган и умел болтать со всеми соседями — этого, черт возьми, и описать невозможно! Да что там, еще в тот же день при большом скоплении народа единодушно нарекли меня превосходным именем — Шельмуфский.

На десятый день после моего необычного рождения я постепенно научился ходить, держась за лавки, правда, медленно, потому что был страшно слаб: ведь я еще ничего на свете не жрал и не лакал, титька госпожи моей матушки мне была противна, а к

прочей пище я еще не привык. Так что околел бы я от голода и жажды, если б не судьба. А что же случилось? Госпожа моя матушка поставила в этот день на печную лежанку полный чан с козьим молоком, на который я случайно попал и, окунув туда палец, попробовал молоко. И так как эта штука приплась мне по вкусу, я схватил чан обеими руками и наполовину выдул его, черт возьми, после чего я совсем ожил и набрался сил. Когда госпожа моя матушка увидела, что козье молоко пошло мне на пользу, она купила вторую козу, ибо одна уже у нее была. Таким образом я и питался до двенадцати лет. Могу вас заверить, я так растолстел от козьего молока, что когда мне минуло двенадцать, жир на моей спине был, черт побери, толщиной с локоть³! На тринадцатом году я



научился тихонько обглаживать всякую мелкую жареную птицу и молодых шпигованных курочек, которые, в конце концов, также весьма пошли мне на пользу. И так как я теперь немножко подрос, госпожа моя матушка послала меня в школу, намереваясь сделать из меня парня, который со временем перещеголял бы ученостью всех людей. Да, возможно, что-нибудь, в конце концов, и получилось бы из меня в ту пору, если б только я имел охоту чему-нибудь выучиться. Но я вышел из школы таким же умником, каким и вошел. Самой большой моей утехой было духовое ружье, привезенное мне госпожой моей бабушкой с ярмарки на Эзельсвизе⁴. Едва прибежав из школы, я забрасывал свои книжонки под лавку, брал духовое ружье, забирался с ним на чердак и стрелял или по головам прохожих, или по воробьям, или расшибал у соседей вдребезги их красивые зеркальные окна, и когда они, бывало, зазвенят, я от всего сердца смеялся. Подобным образом проводил я день за днем и так наострился стрелять из духового ружья, что мог «выдохнуть» душу из воробья на расстоянии трехсот шагов. Воронье я держал в таком страхе, что при одном звуке моего имени они уже знали, что их час пробил. Когда, наконец, госпожа моя матушка увидела, что ученье в меня не лезет и ей приходится зря платить деньги, она забрала меня из школы и отдала одному благородному купцу: я должен был стать знаменитым коммерсантом и, пожалуй, стал бы им, если б только у меня была б к этому охота. Ибо вместо того, чтобы научиться, как с прибылью продать локоть ткани, узнавать цену товаров, у меня постоянно на уме были только новые плутовские проделки. Когда мой патрон куда-нибудь посылал меня с тем,

чтобы я быстро вернулся назад, я перво-наперво брал с собой свое духовое ружье, отправлялся по одной улице вверх, затем по другой — вниз, высматривал, где сидят воробьи, а где есть хорошие большие стекла в окнах, и, если из них никто не выглядывал, разбивал их, а затем удирал. Возвращаясь к своему хозяину с задержкой на пару часов, я всегда мог преподнести ему такое ловкое вранье, что за все время службы он ни разу мне и слова не сказал. В конце концов я, однако, дал промашку и у него, и купец едва не переломил духовое ружье о мою спину, но я вовремя учуял, чем дело пахнет, удрал со своим ружьем, однако пришлось к нему вернуться, и тогда он отослал меня к госпоже моей матушке и дал ей знать, сколько неприятностей натворил я ему своим духовым ружьем и о том, что я совсем не гожусь для торговли. Госпожа моя матушка ответила купцу, что-де ладно, она не собирается вновь отправлять меня к нему, и коли уж я удрал от него и нахожусь опять у нее, может быть у меня появится охота к чему-нибудь лучшему. Такой ответ госпожи моей матушки лил воду на мою мельницу, и если я и раньше не церемонился ни с оконными стеклами, ни с прохожими на улицах, то, почувствовав вновь волю, я стал измываться над ними вдвойне. Наконец, когда госпожа моя матушка увидела, что на меня все время жалуются, а некоторым людям ей пришлось вставить окна, она обратилась ко мне с такими словами: «Милый сын мой Шельмуфский, уж очень медленно набираешься ты ума-разума, а ведь ростом ты больно велик; скажи, к чему же тебя приспособить, ибо у тебя нет охоты ни к чему и изо дня в день ты лодырничаеть, только врагов своим ружьем нажива-

ешь мне в лице всех соседей и ввергаешь меня в неприятности».

На это я ответил госпоже моей матушке: «Знаете что, моя матушка? Я хочу уйти, хочу повидать чужие страны и города, может быть, благодаря моим странствиям я стану настолько знаменитым парнем, что по возвращении каждый должен будет держать свою шляпу под мышкой, если пожелает со мной заговорить». Госпоже моей матушке предложение мое понравилось, и она сказала, что если бы мне это удалось, то, пожалуй, мне надо поглядеть на белый свет и она готова дать мне деньжонок на дорогу, чтобы я хоть малость имел на пропитание. Затем я стал собираться, подобрал все, что хотел взять с собой, завернул это в тиковый носовой платок, засунул его в карман и приготовился к отъезду. Я охотно захватил бы и свое духовое ружье, но я не знал, как с ним быть и опасался, что в пути у меня его могут украсть или отнять. Поэтому я оставил его дома, спрятал на чердаке за трубой и двадцати четырех лет от роду начал свое преопасное странствие.

О том, что я увидел, услышал и претерпел на чужбине на воде и на суше, об этом вы с величайшим удивлением узнаете в последующих главах.

* Глава вторая *



Кукушка прокуковала в первый раз в этом году, когда я простился с госпожой моей матушкой, обнял ее, трижды поцеловал на прощанье в каждую щеку и направился затем к городским воротам. И каким, будь я проклят, большим показался мне мир за ними! Я не знал, черт меня побери, куда мне податься — к закату ли солнца или на запад...¹ Наверно, раз десять тянуло меня вернуться и остаться у госпожи моей матушки, если б только я не дал страшную клятву возвратиться к ней не раньше, чем стану молодцом. Но, в конце концов, и это меня не остановило бы — потому что ведь и прежде случалось мне давать клятвы и не сдерживать их, и я непременно вернулся бы к госпоже моей матушке, если бы вдруг

какой-то граф не подъехал ко мне напрямик через поле в санях с бубенчиками и не спросил меня, о чем я задумался. Я ответил, что намерен поглядеть на белый свет, а он мне кажется таким большим, что и не знаю, куда же мне направиться. На это граф сказал: «Мосье, вижу по вашим глазам, что вы человек порядочный и, если вы хотите поглядеть на белый свет, то садитесь в мои сани, так как я разъезжаю по свету с той же целью — хочу посмотреть, что в нем делается». Едва граф закончил, я мигом вскочил в его сани, засунул правую руку за пояс штанов спереди, а левую — в правый карман, чтобы не замерзнуть, ибо ветер был очень холодный, а вода в ту ночь покрылась льдом, толщиной в добрый локоть. Хорошо еще, что ветер дул нам в спину и не так сильно пробирал меня, потому что господин граф, сидевший сзади и правивший санями, тоже немного задерживал его; и так мы ехали по белу свету все дальше на юг. По пути мы рассказывали друг другу о своем происхождении. Господин граф начал первым и сообщил мне о своем графском званье и о том, что он происходит из очень древнего рода, насчитывающего тридцать два предка; он рассказал также, в какой деревне похоронена его бабушка, но я теперь это уже позабыл. Затем он начал болтать о том, как еще мальчишкой, в шестнадцать лет, он больше всего любил расставлять силки для птиц и как-то поймал в один силок зараз тридцать одну синицу, которых он велел зажарить в масле и съел, и они пришлись ему по вкусу. После того, как он поведал мне всю свою жизнь с начала до конца и я начал выкладывать ему историю о своем необычайном рождении и о крысе, изгрызшей совсем новое шелковое платье госпожи моей матушки, и о

том, как она, прошмыгнув между ног моей сестры, неожиданно скрылась в щели, хотя и должна была быть прибита. Рассказал я также и о своем духовом ружье, из которого так метко стрелял. Когда я ему все это рассказал, господин граф — будь я проклят! — разинул рот и заметил, что из меня еще выйдет порядочный человек. Вскоре после беседы мы подъехали к харчевне, расположенной у дороги, прямо в чистом поле. Здесь мы сделали остановку, чтобы немного согреться. Едва мы вошли в комнату, господин граф приказал хозяину харчевни наполнить водкой большую стопу, вмещающую в этих краях от 18 до 20 мер². и предложил мне выпить с ним на брудершафт. Я и не представлял себе, что господин граф одним разом выдует такую стопу. Однако, черт меня побери, он все-таки выдул ее одним духом, не утерев бороды, и даже хозяин страшно удивился этому. Затем он приказал вновь наполнить стопу и обратился ко мне: «Ну-с, *alloins* *, брат Шельмуфский! Сукин сын тот, кто не выпьет и за мое здоровье!» Сто тысяч чертей! Меня заело, что господин граф так легко бросается подобными словами, и я тотчас же сказал: «Идет, брат, выпью и я за твое здоровье!» Услышав мой ответ, хозяин с насмешкой улыбнулся графу и заметил, что мне с этим не справиться, потому что господин граф полный, солидный мужчина, а я против него — козьявка, и вряд ли даже эта стопа водки уместится в моем брюхе. Но я взял стопу и выдул ее, черт возьми, залпом. Будь я проклят! Как вылупил хозяин глаза и прошептал графу, что я настоящий молодец! Граф похлопал меня по плечу и молвил: «Брат, прости меня, что я

* Давай (*фр.*).

заставил тебя пить, впредь этого не будет. Я уже вижу, что ты за мастак и, пожалуй, вряд ли еще такого сыщешь на свете». На это я ответил господину брату моему графу очень вежливо, что я, действительно, молодец и из меня еще получится кое-что путное, если я только больше повидаю свет; и коли он хочет остаться моим братом и другом, пусть он в дальнейшем избавит меня от подобных штук. Будь я проклят! Надо было видеть, как граф унижался передо мной и на коленях просил прощения и заверял, что в будущем он не допустит таких выходов. Затем мы расплатились с хозяином, вновь сели в свои сани и отправились по свету дальше. В конце октября, к вечеру, мы добрались до прославленного города Гамбурга и остановились на Конном рынке у большого дома, где проживало много дворян и дам. Едва мы сошли с саней, к нам спустились с лестницы два знатных итальянских господина: один из них держал в руке медный подсвечник с горящей восковой свечой, а другой — большую глиняную лампу, полную оливкового масла. Они приветствовали нас и выразили радость по поводу моего, а также брата моего, господина графа, здоровья. После этих учтивых любезностей дворянин со свечой взял меня под руку, а второй — с лампой — ухватил господина графа за рукав, и они повели нас вверх по лестнице, чтобы мы не упали, так как наверху ее было выбито шесть ступеней. Когда мы поднялись, перед нами предстал великолепный зал, украшенный прекраснейшими шпалерами³ и драгоценными камнями, а вокруг все сверкало и сияло ст золотом и серебром. В этом зале находились два благородных бюргера из Голландии и два португальских посла, которые тотчас же устремились ко мне и гос-

подину графу навстречу и также приветствовали нас и выразили радость по поводу нашего доброго здоровья и нашего счастливого прибытия. Я им ответил сразу же весьма учтиво и сказал, что если они себя еще чувствуют бодрыми и здоровыми, то это очень приятно и мне и господину графу. После этого обмена любезностями появился хозяин в шубе из зеленого бархата с большой связкой ключей в руках, также приветствовал нас и спросил, не угодно ли мне и господину графу подняться с ним еще на одну лестницу выше, где он указал бы нам нашу комнату. Я и брат мой граф попрощались с весьма учливой миной со всей компанией и последовали за хозяином, который должен был повести нас в комнату, где нам будут предоставлены все удобства. Как только



мы поднялись с ним еще на одну лестницу выше, он отомкнул превосходную горницу, где стояла чрезвычайно изящная кровать и все было отменно разубрано. Он предложил нам здесь расположиться, а если нам что-нибудь потребуется, то нужно будет только свистнуть из окна и слуга будет тотчас же к нашим услугам; затем он покинул нас. Едва хозяин удалился, я тотчас же снял обувь и чулки, свистнул слуге, чтобы он мне принес таз свежей воды вымыть лапы, ибо воняли они отвратительно. У брата же моего господина графа порвались в промежности его черные бархатные штаны и, решив их заштопать сам, он свистнул молодой служанке, чтобы она принесла ему иголку с белой ниткой. Так мы оба и сидели: я мыл свои вонючие ноги, а брат мой граф весьма искусно чинил свои порванные бархатные штаны. После того, как мы малость привели себя в порядок, вновь появился хозяин в шубе из зеленого бархата и пригласил нас к ужину. Я и брат мой граф сразу же последовали за ним; он повел нас вниз по лестнице, через прекрасный зал, и мы оказались в большой комнате, в которой огромный стол был установлен превосходнейшими яствами. Хозяин просил нас немного обождать — прочие господа и дамы сейчас соберутся и составят нам компанию. Не успел он закончить своей речи, как в столовой появились те два итальянских дворянина, недавно осыпавшие нас любезностями, а также два почтенных бюргера из Голландии и два португальских посла, и каждый из них тащил за руку благородную даму. Будь я проклят! Какие реверансы все они начали разом делать перед нами, увидев нас с братом моим господином графом, особенно бабье, — они глазели на нас, черт меня подери, с истинным

изумлением. Когда все общество собралось для совместной трапезы, меня и брата моего господина графа уговорили занять места в верхней части стола, что мы, не долго раздумывая, и сделали. Я сел на самом почетном месте, возле меня слева — брат мой господин граф, справа — все благородные дамы. За ужином обсуждались всякие государственные вопросы, а мы с братом моим графом помалкивали и интересовались содержимым мисок, потому что уже три дня ни один из нас не имел во рту и маковой росинки. После того, как мы оба набили брюхо, начал и я рассказывать о моем необычайном рождении и о том, что случилось с крысой, которую собирались пришить, ибо она изгрызла шелковое платье. Ну и ну! Надо было видеть, как все они разинув рты и наострили уши, слушая такие вещи, и как глазели они на меня с величайшим удивлением! Благородные дамы тотчас же принялись пить за мое здоровье, к ним присоединилось все общество, и то одна дама, принимаясь выпивать, восклицала: «Да здравствует благородный господин фон Шельмуфский!», то другая — «Да здравствует благородный дворянин, скрывающий под именем Шельмуфского свое высокое происхождение!» Я отвечал с весьма любезным видом каждой бабенке, крепко выпивавшей за мое здоровье. Из-за этой истории с крысой одна из благородных дам, сидевшая рядом со мной справа, влюбилась в меня по уши. Наверно сотню раз пожимала она мне руки — так я ей понравился — и все время подталкивала своими коленями мои колени, потому что так сильно влюбилась в меня. Да это было и неудивительно — ведь я так учтиво сидел возле нее, а все вокруг, черт подери, помирали со смеху. После моего рассказа

брат мой господин граф начал разглагольствовать о своем происхождении, о своих тридцати двух предках и, конечно, о том, в какой деревне похоронена его бабушка и как он мальчишкой в шестнадцать лет поймал в силки тридцать одну синицу зараз и о прочей чепухе. Но он выкладывал это все на удивление без разбору, перескакивал с пятое на десятое и к тому же оратором был плохим, ибо сильно заикался. Едва граф заметил, что его никто не слушает, он замолк в середине рассказа и приналег на еду. Но когда беседу начал я,— будь я проклят!— как они все притихли, словно мышки,— ведь я умел так приятно выразаться и излагал все это с таким любезным выражением лица, что они, черт меня побери, слушали с большой охотой.

Хозяин, убедившись, что никто уже не ест и миски достаточно вылизаны, распорядился все убрать. После этого я и брат мой господин граф весьма любезно попрощались со всем обществом и поднялись из-за стола; заметив это, все разом также начали вставать. Я и брат мой господин граф, не мешкая, пошли к выходу из столовой и живо направились в нашу комнату. Однако все общество проводило нас через прекрасный зал до нашей лестницы, по которой мы должны были подняться; затем они пожелали нам спокойной ночи и приятного отдыха. Я вновь любезно поблагодарил их и сказал, что я, конечно, воспитанный молодой человек, но немного устал, как, впрочем, и господин граф, и что уже несколько недель, как мы забыли, что такое постель; поэтому мы славно заснем, чего и им желаем. После этого весьма учтвого ответа все разошлись по своим комнатам, а я и брат мой господин граф тотчас взобрались по

лестнице в свою комнату. Войдя, я свистнул слуге и приказал принести нам свечу, что он и сделал, незамедлительно удалившись затем восвояси. После этого я и брат мой господин граф разделись донага и начали разглядывать, что творится в наших рубахах.

О проклятие! В какую живность превратился в них наш пот! Понадобилось, черт возьми, больше трех часов, чтобы всю ее прикончить. Но у меня дело обстояло еще не так худо, как у господина графа, его одолело, черт меня побери, в двадцать тысяч раз больше тварей, чем меня, и я, освежив свою рубаху, еще вынужден был с добрый час помогать ему давить это воронье, пока оно все не сгнуло. Закончив эту необходимую работу, мы улеглись в прекрасную кровать, стоящую в комнате, и едва брат мой господин граф плюхнулся на нее, как сразу же так захрапел, что я не мог сомкнуть глаз, хотя и очень



устал и меня тоже клонило ко сну. Пока я так с минуту лежал и прислушивался, кто-то очень тихо постучал в нашу дверь. Я спросил: «Кто там?», — но никто не отвечал; постучали еще раз, я опять спросил «Кто там?» — но вновь никто не ответил. Я поднялся, прыгнул голышом с кровати, открыл дверь и увидел, кто это стучал: снаружи стояла бабенка, держа в руке письмецо. Она пожелала мне в темноте доброго вечера и спросила, здесь ли проживает благородный господин иностранец, который сегодня вечером за столом рассказывал историю о крысе. Узнав, что перед ней я сам, собственной персоной, она продолжала: «Вот вам письмецо, а я должна принести ответ». Я взял у нее послание, велел ей немного подождать у двери, быстро натянул свою рубаху и штаны, свистнул слуге, чтобы он мне зажег свет. Он тотчас же это исполнил и взбежал по лестнице с большим фонарем. Я вскрыл письмо и увидел, что там написано. Оно гласило:



Прелестный юноша!

Если Вам будет угодно взглянуть сегодня вечером

на мою комнату, то дайте это знать через мою камеристку. Адье!

Расположенная к Вам дама,
сидевшая нынче вечером за столом
справа от Вас и подталкивавшая Вас
порой коленом

*Шармант*⁴.

Прочтя письмо, я вновь свистнул слуге и велел принести мне перо, чернила и бумагу. Затем уселся за стол и ответил мадам Шармант крайне учтивым письмом, сочиненным на такой манер:

Прежде всего желаю вам всего хорошего
и доброго,

почтеннейшая мадам Шармант!

Сначала мне нужно вновь обуться, надеть чулки, а также кафтан (ибо сорочку и штаны я уже надел, когда постучала эта баба — камеристка, и хотя я нагой вскочил с кровати и голышом открыл ей дверь, я все же сомневаюсь, чтобы она многое заметила в темноте, передавая письмо), а затем я незамедлительно направляюсь к Вам. Но Вы, почтеннейшая мадам, должны будете сразу же послать ее вновь ко мне, чтобы она указала дорогу к Вашей комнате; и прикажите ей захватить фонарь, чтобы я не упал в темноте, ибо сам я, черт возьми, не доберусь. А почему? Сейчас как раз между одиннадцатью и двенадцатью вечера — время, когда нечистый начинает свои проделки, и я могу запросто перепугаться и на следующее утро рот мой обметает сыпью. И какую услугу я Вам окажу, если рожка моя, которой Вы дорожите, распухнет? Поступайте, как Вам угодно: пошлете Вы за мной

бабу — хорошо, а не придет она — я сейчас же скидываю свои штаны и сорочку и ложусь в постель к брату моему графу.

Прощайте, остаюсь всегда Вашим,
почтеннейшая мадам Шармант,
нижайше преданным и готовым к услугам
и к путешествиям слугой

Ш е л ь м у ф с к и м.

Это письмо я и послал в качестве ответа благородной мадам Шармант, мигом вытащил из-под скамьи башмаки и чулки, чтобы их надеть, и не успел натянуть один чулок на левую ногу, как служанка была уже тут как тут у дверей и, держа в руке большой бумажный фонарь, в котором горела глиняная лампа с двумя фитилями, собиралась проводить меня до комнаты мадам Шармант, чтобы я не упал. Одевшись, я взял под мышку свою отличную кривую саблю и направился в комнату к мадам Шармант. Бабенка-камеристка отлично светила мне бумажным фонарем: она повела меня опять по лестнице вниз, через прекрасный зал, по длинному переходу, в глубину заднего двора, где я вынужден был вновь подняться с ней на шесть лестниц, прежде чем добрался до комнаты Шармант. Как только бабенка мне указала дверь, я тотчас же отворил ее и вошел, не раздумывая и без доклада. Завидев меня, Шармант сразу вскочила с кровати в ночной рубашке, приветствовала меня на французский манер двойным поцелуем, извинилась и просила не видеть ничего дурного в том, что она послала за мной поздно ночью и обеспокоила меня этим визитом. Я ответил Шармант весьма учтиво, как воспитанный молодой человек, подобного которому ред-

ко сыщешь на свете, что ничего особенного не произошло, потому что я все равно не мог заснуть из-за храпа брата моего господина графа. После того, как я произнес это с необычайно любезным выражением лица, она меня все-таки попросила сесть к ней на кровать и еще раз рассказать историю с крысой и о том, в какую дыру она скрылась, когда ее хотели пришить из-за изгрызанного шелкового платья. Я тут же изложил Шармант всю эту историю, но относительно дыры, в которую скрылась крыса, я сказал, что я, правда, ее не видел, но по сведениям, полученным мной от сестры, крыса внезапно прошмыгнула между ее ног, исчезнув на глазах, и ни один черт не знает, куда спряталась навеки эта стерва. Ну и ну! Как бросилась мне на шею эта бабенка Шармант, за-



слышав о крысиной дыре! Она всадила свой язык в рот на целых пол-аршина, черт меня побери,— так я ей понравился!— и целовала раз за разом мое рыло крестнакрест испанским манером, так что от удовольствия, которое доставляла мне эта бабенка, мне казалось порой, будто я нахожусь на небесах. После того, как она выложила мне свои любовные чувства в чрезмерных и бесстыжих нежностях, а я, черт побери, и сам не ведал, что делаю, она начала присватываться ко мне и говорила, я-де должен на ней жениться. На это я ответил Шармант весьма учтиво, что ведь я порядочный молодой человек, из которого еще получится кое-что путное, если я только больше увидаю свет, и поэтому у меня сейчас нет охоты жениться. Но я не желал ей начисто отказать, а только иметь время пораздумать над этим делом. Тьфу! Как начала эта бабенка выть и реветь, когда я ей отказать; слезы лились по ее щекам, словно из лохани, а глаза округлились и стали похожи на самые большие миски для овечьего сыра. И так как я вовсе не хотел, чтобы она доревелась из-за меня до смерти, то волей-неволей вынужден был, черт возьми, обещать, что никакой иной жены, кроме нее, я не возьму. Услышав эти слова, она вновь обрадовалась и весьма искусно всадила опять свой язычок в мой рот на целых пол-аршина и начала так сосать им мою глотку, как малое дитя титьку матери. После всевозможных любовных увеселений я попрощался с ней в тот же вечер, камеристка с бумажным фонарем проводила меня до моей комнаты, и я лег в кровать к брату моему господину графу, который все еще без перерыва храпел. Едва я оказался в постели, меня охватил сон, и мы оба захрапели, как старая лошадь, удравшая от живодера.

Утром на следующий день, около девяти часов, когда я еще сладко спал, кто-то гнусным образом так заколотил двумя ногами в нашу дверь, что я от испуга привскочил на добрую сажень. Стуку не было конца, я мигом поднялся, надел сорочку и хотел взглянуть, кто там мог быть. Открыв дверь, я увидел слугу одного из голландских бюргеров, который спросил, здесь ли живет Шельмуфский. Я ответил, что это я. Тогда слуга заявил, что его господин будет считать меня не молодцом, а архитрусом, если я сегодня, самое позднее в 10 часов утра, не прибуду с хорошей шпагой на большой луг перед Альтонскими воротами⁵, а там он меня научит уму-разуму. Сто тысяч чертей! Как меня заело, что этот тип позволяет говорить мне такие слова через своего слугу. Я тотчас же спровадил его со следующим ответом: «Слушай ты, сукин сын! Передай своему господину, почему он не пришел ко мне сам и не произнес этих слов собственной персоной, я бы сейчас с ним разделался; но чтобы он убедился, что я его не боюсь, я приду и принесу к его услугам не только добрую саблю — притом кривую, — но и пару хороших пистолетов; я ему покажу, что впредь следует больше уважать храбрейшего любимца Фортуны, если он хочет чего-нибудь добиться от него». Слуга удалился, не промолвив более ни слова, но, оказавшись уже на лестнице, взглянул на меня искоса, состроил кислую издевательскую рожу и быстро сбежал по лестнице. Я вернулся в комнату, быстро оделся, свистнул слуге. Тот сразу же явился и спросил: «Что угодно Вашей милости?» Мне очень понравилось, что этот парень умел говорить со мной так скромно. Я спросил его, не разбудит ли он мне пару хороших пистолетов, ему от этого никакой беды не будет и он может рассчитывать на чаевые.

Будь я проклят! Едва только парень услышал о чаевых, как выскочил из комнаты и мигом притащил два чудесных пистолета хозяина! Один из них он зарядил крупной, а другой — мелкой дробью и двумя пулями. Затем я прицепил саблю, засунул пистолеты за пояс и молча направился к Альтонским воротам. Подойдя к ним, я осведомился, где находится большой луг. Какой-то корабельный юнга сразу же мне указал его. Завернув за угол городской стены, я увидел луг и на нем целую толпу людей, к которой и бросился бегом. Приблизившись, я заметил одного из бюргеров с некоторыми его сторонниками. Я тотчас же спросил его, он ли вызывал меня час тому назад через своего слугу и какова причина этого. Он ответил, что да, вызывал, а причина в том, что я прошедшую ночь провел у мадам Шармант и он не может стерпеть, чтобы иностранец оказывал ей услуги. Затем он стремительно обнажил шпагу и начал наступать. Проклятие! — заметив, что он старше меня, я выхватил свою саблю из ножен и занял позицию. Отбив единственный его удар, я бросился на него, как дикий кабан, и всадил ему свою саблю, черт меня поберет, в левый локоть ударом «ложной квинты»⁶ так, что кровь брызнула струей толщиной с руку; тогда я припер его к стенке и собирался вышибить из него дух пистолетом, заряженным дробью и пулями; и я бы это сделал в ярости, если бы его приятели не бросились меня упрашивать пощадить его, так как я уже достаточно оплатил ему. Многократные просьбы уладили дело таким образом, что я вынужден был с ним помириться, однако с условием, что он никогда более не позволит говорить мне через своего слугу подобные слова, если я нанесу визит мадам Шармант. И он на это пошел. С каким почетом после этого случая об-



ращались со мной его приятели, этого, черт возьми, и описать невозможно! Где только ни завязывался поединок, я обязан был всегда при этом присутствовать и разводить противников. Ибо, если я не был при этих драках и они происходили втайне, то их даже и не принимали в расчет, а если становилось известно, что фон Шельмуфский опять был секундантом у того-то и того-то, то все уже знали, как обстояло дело. О случившейся дуэли с голландским бюргером я сразу же рассказал мадам Шармант и заметил, что она произошла из-за нее; бабенка эта, правда, сначала очень испугалась, но когда узнала, что я так по-рыцарски себя вел, от радости вскочила, бросилась мне на шею, начала меня ласкать и опять всадила весь свой язык в мою глотку, что мне особенно, черт возьми, нравилось у этой бестии!

После этого я отправился наверх к брату моему гос-

подину графу, который все еще лежал в кровати и прислушивался к шуму. Я также рассказал ему обо всем, что уже случилось со мной в Гамбурге; он так озлился, что я его не разбудил, он бы поехал со мной на своих санях и был бы моим секундантом. Но я ему ответил, что храбрый малый не должен трусить и перед сотней врагов. Затем пришел к нам наверх хозяин в зеленой бархатной шубе и опять позвал нас к обеду. Ай да проклятие! Надо было только видеть, как мой брат господин граф вскочил с кровати голым и стремглав начал одеваться, чтобы не пропустить трапезу. Когда он, наконец, оделся, мы спустились с хозяином вниз к столу. За обедом собралось опять все то общество, с которым мы ужинали прошлым вечером, за исключением одного из бюргеров, того, которому я проткнул руку ударом ложной квинты. Я и брат мой господин граф вновь заняли, недолго думая, верхние места за столом. Мне казалось, что во время обеда все будут язвительно прохаживаться насчет поединка, но никто, черт возьми, не произнес о нем и слова; и я также никому не посоветовал бы этого делать, ибо ложная квинта и кабаньих натиск все еще не выходили у меня из головы. Все беседовали со мной и полагали, что я снова расскажу что-нибудь удивительное, стремились дать мне повод к этому, но я, черт возьми, вел себя так, словно ничего и не слышал.

Мадам Шармант выпила за мое здоровье, и к ней вновь присоединилось все общество. Брат мой господин граф начал затем рассказывать о своих синицах, которых он разом поймал в одни силки, и о том, как они очень пришлись ему по вкусу, когда его покойная госпожа бабушка зажарила их в масле. Над этой глупой историей посмеялось все общество. После обеда я со

своей возлюбленной мадам Шармант сел в легкий экипаж и поехал прогуляться по городским валам; мы осмотрели городскую стену Гамбурга, ее постройку, и в некоторых местах она оказалась недостаточно прочной. Я обратил на это внимание коменданта города и указал, как ее можно в будущем перестроить на совершенно другой манер. Он все записал, но были ли выполнены эти работы, я не знаю, так как с того времени я там не был. Затем мы поехали в крепость и осмотрели также и ее. Проклятие! Какие бомбы лежали здесь, еще с прошлой осады! ⁷ Бьюсь об заклад, что каждая из них весила, пожалуй, более трехсот центнеров! Я попробовал поднять одну из них одной рукой, но, черт возьми, это мне не удалось, и я только насилу смог поднять ее двумя руками на три локтя в высоту. Отсюда мы поехали на Эльбу и наблюдали, как корабельные юнги удят рыбу. Ну, будь я проклят! Что за форелей ловили они на удочку! Это были вовсе не те крохотные форели, что ловятся здесь в Гутенбахе ⁸ или в каких-нибудь других местах. Это были, черт меня побери, рыбины по добрым двадцать-тридцать фунтов. Форелями я обожрался в Гамбурге до отвала, и когда я порой сейчас слышу о них, меня тотчас же начинает тошнить. А в чем причина? В Гамбурге и не встретишь иной рыбы, кроме форели, форели из года в год, и волей-неволей можно провонять ею. Иногда, но очень редко, под Сретенье ⁹, поступает сюда пара бочек свежей сельди, но так как она быстро расходуется среди такой массы людей, то ее просто и не видишь. Посмотрев немного с моей возлюбленной, как удят рыбу, мы поехали обратно в город, на свою квартиру. Сойдя с экипажа, мы увидели у ворот горбатого невысокого танцмейстера, который весьма учтиво приветствовал мадам Шар-

мант, а также меня и пригласил нас на бал. Моя возлюбленная Шармант спросила меня, желаю ли я поехать с ней туда, ибо она не может отказать обществу, так как все будут ее ожидать. Я ответил: «Пожалуй, поеду и посмотрю, что там творится». Тогда она велела танцмейстеру сообщить, что она тотчас прибудет. Черт возьми! Надо было видеть, как парень завертелся от радости, что она приедет и привезет еще кого-то с собой! Он побежал к танцевальному залу, словно его схватила лихорадка. Мы сразу же сели вновь в наш легкий экипаж и поехали к танцевальному залу. Сто тысяч чертей! Какое впечатление произвели мы на всех благородных дам и кавалеров, уже находившихся в зале, едва мы прибыли! И насколько я мог слышать, повсюду раздавался шепот. То один спрашивал: «Кто этот благородный господин, которого привезла с собой мадам Шармант?»; то другая женщина говорила соседке: «Ну, разве это не красавчик? Просто кровь с молоком!» Такие речи раздавались наверно с полчаса. Танцмейстер предложил мне стул, обитый красным бархатом, все же прочие, однако, как и моя Шармант, вынуждены были стоять. Тут началась музыка. Ну и проклятие! — как ловко циликали эти парни сначала уличную песенку, а затем маленький горбатый танцмейстер первым открыл бал. Пропади все пропадом! Как умел подпрыгивать этот малый, словно, черт возьми, летал по воздуху. После окончания этого танца все стали в круг и начали танцевать хороводом. Мою Шармант тоже заставили войти в середину и плясать одной. Ай да проклятие! Как только ни извивалась змеей эта бабенка! Я, черт возьми, все время думал, что она сейчас свалится с копыт, но ей все было нипочем. Другие девицы танцевали, канальи, тоже эле-

гантно, трудно передать, как мило они перебирали лапками, но с моей Шармант никто не мог поспорить. После хоровода пошли всякие обычные танцы — куранда, жига, аллеманда ¹⁰. В такой чепухе и я был вынужден принять участие: разные дамы подходили к красному бархатному креслу, где я сидел, и приглашали меня. Я, правда, сначала извинялся, что, хотя я и малый не промах и в моих глазах светится благородство, но танцам еще недостаточно обучен. Однако никакие извинения, черт возьми, не помогали; дамы внесли меня в круг вместе со стулом, опрокинули его, и я растянулся, сто тысяч чертей, на полу; но тотчас же вскочил на ноги с весьма учтивой миной так, что все общество в зале было сильно удивлено, и кавалеры заго-



ворили между собой о том, что я, пожалуй, один из самых изящных молодых людей в свете. Затем я начал танцевать и пригласил трех дам: одна из них держалась за мою левую руку, другая — за правую, а третья — за левую ногу, и я приказал скрипачам сыграть альтенбургский крестьянский танец¹¹. Тут бы и можно было поглядеть, как следует танцевать и какие искусные прыжки я умел выделывать правой ногой: когда я немного вошел в раж, я начал подпрыгивать на ней на целую сажень в высоту, так что и дама, державшаяся за мою левую ногу, почти не касалась земли, а все время вертелась в воздухе. Черт меня побери! Как глядели все бабенки на эти прыжки! Маленький горбатый танцмейстер клялся, что за всю свою жизнь он никогда не видел таких прыжков. Затем они все захотели узнать, какого я рода и звания, но я, черт возьми, никому этого не сказал и выдал себя только за простого дворянина, однако они этому не поверили и утверждали, что я, должно быть, более благородного звания и по моим глазам видно, что я родился не под ореховым кустом. Они начали расспрашивать мою Шармант, но, разрази ее дьявол, если она что-либо проронила о моем рождении, ибо, если бы они узнали историю с крысой,— ох проклятье! — с какой охотой они бы ловили каждое слово!

После бала мы с моей Шармант поехали в оперу, где тоже можно было, черт возьми, кое-что посмотреть, так как в этот день ставили «Разрушение Иерусалима»¹². Ну и ну! Что это был за огромный город, этот самый Иерусалим, который представляли в опере! Бьюсь об заклад, что он, черт его побери, был в десять раз больше, чем город Гамбург, а его так подло разрушили, что, черт возьми, сейчас и не увидишь, где он находился.

Только жалко, что с ним и расчудесному храму Соломонову пришлось вылететь в трубу; мне казалось, что хоть кусочек от него должен был бы уцелеть, так нет же, черт побери, солдаты все развалили и разрушили дотла — это были хорваты и шведы, они-то и стерли Иерусалим в порошок¹³. После оперы я направился со своей Шармант на Юнгфернштитг¹⁴ (как называют его господа гамбуржцы). Ибо это веселое место и расположено оно в центре города на берегу небольшой реки, называемой Эльстер¹⁵. Здесь растёт, пожалуй, тысячи две лип, и благородные кавалеры и дамы города Гамбурга прогуливаются и дышат под липами свежим воздухом каждый вечер. На Юнгфернштитге можно было встретить по вечерам и меня с моей Шармант, ибо Юнгфернштитг и опера были всегда нашим любимым времяпрепровождением. Об осаде Вены они также однажды сыграли превосходную оперу! Сто тысяч чертей! Какие бомбы швыряли турки в город Вену! Черт возьми, они были в двадцать раз больше тех, что лежат в гамбургском укреплении. Но как им за это оплатили саксонцы и поляки¹⁶, вы, наверное, знаете. Пожалуй, свыше 30 тысяч турок полегло у стен Вены, не считая пленных и смертельно раненных, число которых, по моим подсчетам, достигало приблизительно 18 — 20 тысяч человек, а добрых 40 тысяч обратились в бегство. Ох, будь я проклят! Как заливались трубы, когда кончилась осада города, готов спорить, что, вероятно, свыше 20 тысяч трубачей стояли на площади и играли в городе викторию¹⁷.

В таких забавах ежедневно проводили мы время в Гамбурге, и сколько это мне стоило денег, об этом, черт меня побери, я и говорить не хочу! Но мне не жалко ни гроша, которые мы промотали с Шармант,

ибо она была необыкновенно красивой бабенкой, и ради нее я готов был бы снять штаны и заложить их ростовщику, если бы не хватило денег, так как она любила меня сверх всякой меры и всегда называла своим «преlestным юношей» — ведь я был тогда гораздо красивей, чем теперь. А почему? Вы услышите ниже, как гнусно сожгло меня солнце за экватором. Да, Гамбург, Гамбург! — как вспомню о нем — немало радости он мне доставил... И я бы, черт возьми, так скоро оттуда не убрался (хотя и пробыл там целых три года), если бы моя кривая сабля не довела меня до беды; правда, все произошло из-за моей ненаглядной Шармант, но эта добрая бабенка тоже, собственно, не виновата в том, что я вынужден был уносить ноги туманной ночью. Ибо благородный молодой человек не должен терпеть, чтобы над ним кто-то взял верх. Дело обстояло так: меня с моей Шармант пригласили в одно веселое общество, и мы должны были остаться в этом изысканном доме в гостях весь вечер. Было уже очень поздно, когда закончился ужин, и нам предложили заночевать, но моя Шармант не пожелала этого. Благородный хозяин, у которого мы находились, велел запрячь карету с тем, чтобы доставить нас в безопасности домой. Когда мы вскоре доехали до Конного рынка, моя Шармант попросила, чтобы мы прокатились еще с полчаса по Юнгфернштиг — ей хотелось только взглянуть, что за общество там сейчас находится. Я согласился и приказал кучеру везти нас туда. Недалеко от Юнгфернштиг, в одном узком проулке, который мы должны были проехать, кто-то начал меня задирать. Кровь сразу же бросилась мне в голову, словно прямым ударом свалили меня с ног; и, разрази меня господь, в десять раз было бы прият-

ней получить такой удар, чем слышать подобные издевательства! Я остановился и сказал моей Шармант, чтобы она с кучером повернула назад и возвращалась домой, а я выясню, кого же так оскорбляют. Мне казалось невероятным, чтобы так нагло могли задирать самого храброго любимца Фортуны. Но моя Шармант не хотела меня отпускать, опасаясь, что со мной может случиться несчастье; она бросилась мне на шею, начала меня ласкать и вновь всунула свой язык в мое рыло — настолько она меня любила и так хотела, чтобы я остался с ней. Но едва она отвернулась, как я выскочил из кареты, приказал кучеру поворачивать обратно и пошел по направлению к ночным забиякам, которых числом около тридцати застал в конце узкого проулочка. «Чего вы здесь задираете людей, лодыри?» — спросил я их. Но парни с обнаженными шпагами бросились на меня, думая, что я струшу. Я, правда, отступил на шаг, но выхватил из ножен свою саблю и — проклятие! — как пошел колотить и полосовать парней, словно, черт возьми, рубил капусту и репу: пятнадцать из них тотчас же полегли на месте, некоторые, сильно изувеченные, запросили пощады, а третьи стали улепетывать и звать стражу на помощь. Сто тысяч чертей! Когда я услышал о страже, то подумал, что дело обернется плохо, если она меня схватит, и во весь опор помчался к Альтонским воротам, сунул сторожу целый двойной талер¹⁸, чтобы он меня пропустил в боковую калиточку. За стенами я сел на том самом лугу, где я ударом «ложной квинты» проткнул голландскому бюргеру левый локоть, и заревел, как сопляк. Выплакавшись, я встал, взглянул еще раз на город Гамбург, хотя и не мог его разглядеть в темноте, и проговорил: «Спокойной

ночи, Гамбург! Спокойной ночи, Юнгфернштиг, спокойной ночи, опера, спокойной ночи, брат мой господин граф, и спокойной ночи, моя милейшая Шармант! Не убивайся о том, что твой прелестный юноша должен тебя покинуть, быть может тебе скоро удастся его встретить где-нибудь в другом месте». Затем я в темноте отправился в дальний путь. Рано утром я достиг города Альтоны, который находился в трех добрых немецких милях от Гамбурга¹⁹, завернул в самую благородную харчевню под названием «Виноградник», где встретил земляка, сидевшего в нише за кафельной печью и напропалую дувшегося по-шулерски в карты с двумя благородными дамами. Я открылся ему и рассказал, что произошло со мной в Гамбурге. Это был, черт возьми, тоже парень молодчина, ибо он несколько дней назад вернулся из Франции и ждал в «Винограднике» векселя, который должна была ему прислать при первом удобном случае его мамаша. Он высказал мне такое большое почтение, что я, черт возьми, во веки веков его не забуду, а также посоветовал долго не задерживаться в Альтоне, ибо, если узнают в Гамбурге, что здесь находится некто, погубивший столько душ, то стража, даже если я буду в другой области, начнет розыски и прикажет меня схватить. Этому доброму совету я и последовал, и так как в этот день отсюда отправлялся корабль в Швецию, сел на него, попрощался с земляком и отбыл из Альтоны. Как я чувствовал себя в море, что я и там и в Швеции повидал и испытал, об этом вы узнаете в следующей, с большим искусством рассказанной главе.

* Глава третья *



Была как раз «чесночная среда»¹ на неделе перед Троицей, когда я впервые оказался в море. Я полагал, что корабли, на которых обычно катаются в Гамбурге вдоль Юнгфернштиг, считаются большими, однако возле Альтоны, на море, они наверно, черт возьми, в тысячу раз больше, и их называют грузовыми судами. На одно из таких судов я и сел и, простившись с земляком, отплыл. Чуть ли не через полчаса плавания мне стало плохо, и я заболел морской болезнью. О проклятье! Как меня начало рвать, казалось, черт возьми, что вывалятся все мои потроха, и я беспрерывно перегибался три дня и три ночи за борт судна. Все удивлялись, откуда все это берется. На четвертый день, когда мне стало немного легче, я попросил у капитана добрый стакан водки, примерно на 12 мер, зал-

пом выпил его и надеялся, что это мне вылечит желудок. Тьфу, проклятье! Едва я эту штуку выпил, как мне опять стало плохо, и если до этого меня уже не рвало, то теперь меня стало рвать водкой на протяжении четырех дней, а на пятый, черт побери, из меня потекло чистое козье молоко, которое я поглощал в детстве до двенадцати лет и которое так долго оставалось где-то в моем брюхе. Когда и оно из меня вышло и даже на рвоту уже не хватало, капитан велел мне выпить добрый стакан оливкового масла, чтобы размягчить желудок, что я и сделал, опрокинув в себя, черт меня подери, свыше пятнадцати жбанов этого масла разом.

Едва только я влил эту штуку в живот, мне сразу же стало легче. На тринадцатый день плавания, около десяти часов утра, так адски стемнело, что не видно было ни зги, и капитану пришлось повесить огромную лампу перед кораблем, чтобы видеть, куда он плывет; своему компасу он не доверял — его стрелку все время заедало. Когда наступил вечер, — проклятье! — какой шторм поднялся на море! Черт меня побери, мы думали, что все мы подохнем. Я могу определенно сказать, что нас качало, как малое дитя в люльке, и капитан охотно бросил бы якорь, но не находил дна и должен был, таким образом, лишь следить, как бы наш корабль не наскочил на риф. На девятнадцатый день небо начало вновь проясняться, и буря так быстро улеглась, что на двадцатый день море опять успокоилось и установилась хорошая погода, лучше, чем мы могли надеяться. Морская вода после этого шторма стала такой чистой, что в ней, черт возьми, можно было видеть снующих туда и сюда рыб! Ну и дела! Какие там были колюшки! Каждая из них была, черт

возьми, величиной с лосося или щуку в наших реках; язык свисал у них из их рыл, как у крупных польских быков. Среди прочих рыб можно было видеть и таких, у которых были отвратительные огромные красные глаза, и, побьюсь об заклад, один глаз такой рыбы был больше днища бочек, в которых у нас варят густое пиво. Я спросил капитана, что это за рыбы, он ответил, что они называются «большеглазки». К исходу этого месяца мы почуяли землю, а в следующем месяце уже увидели вершины прекрасных башен Стокгольма, куда мы и направлялись. Примерно с милью от города мы плыли очень медленно вдоль берегов. Сто тысяч чертей! Что за прекрасные луга вокруг Стокгольма! Как раз в это время косили сено, и трава доходила косцам по плечи, так что приятно было глядеть на это. На одном лугу было сметано, наверно, свыше 6 тысяч стогов сена. Когда мы подъехали к самому городу, капитан остановил судно, попросил с нас плату за проезд и велел сойти на берег, что мы и сделали. Высадившись, мы разошлись в разные стороны, и я тоже пошел в город. И так как мне не хотелось поселиться в простой гостинице, то я остался в пригороде и остановился у одного садовода, который, черт меня побери, был чрезвычайно добрым человеком. Стоило мне только заявиться у него и спросить о квартире, как он сразу же согласился. Затем я мигом рассказал ему о моем рождении и об истории с крысой. Ей-ей, клянусь! Как развеселился он, слушая про эти дела! И, черт возьми, он был так почтителен со мной, что, разговаривая, постоянно держал свою шапочку под мышкой и называл меня только «Ваша милость!» Он, как видно, заметил, что я парень не промах и во мне есть что-то значительное.

У него был превосходный сад, и сюда почти ежедневно приезжали гулять благороднейшие люди города. Я, правда, хотел сохранить инкогнито и не признавался, кто я и какого звания, тем не менее меня вскоре выдали. Тьфу, проклятье! Сколько визитов начали наносить мне знатнейшие дамы Стокгольма; ежедневно приезжало в сад, черт возьми, до тридцати карет, набитых битком, и все хотели поглядеть на меня; садовод расписал, какой я молодец.

Среди них постоянно приезжала в сад одна женщина, ее отец был самым знатным человеком в городе; ее называли не иначе, как фрейлейн Лизетта. Это была, черт возьми, удивительно красивая бабенка, и она влюбилась в меня до смерти и добивалась также по всем правилам, чтобы я на ней женился. Но я ответил



ей весьма учтиво, что поскольку я порядочный молодой человек, в глазах которого светится что-то благородное, то на сей раз я не могу дать ей определенный ответ. Проклятье! Эта бабенка начала так вопить и реветь из-за моего отказа, что я прямо-таки не знал, что мне с ней делать. Наконец, я сказал ей, что в Гамбурге я уже с одной наполовину обручился, но не имею от нее известий, жива ли она или умерла, пусть пока будет довольна тем, что через несколько дней я дам ей ответ, женюсь ли я на ней или нет. После этого она успокоилась и бросилась мне на шею и так нежно, черт подери, ко мне отнеслась, что я окончательно решил покинуть Шармант и связать себя с фрейлейн Лизеттой. Затем она со слезами простилась со мной, сказав, что рано утром на следующий день посетит меня вновь, и отправилась в город к своим родителям.

И что бы вы подумали произошло? Наступил следующий день, я приказал приготовить чудесного свежего молока и хотел им угостить в саду фрейлейн Лизетту; но прошло утро, прошло время до обеда, а я все напрасно ждал в саду, с молоком, фрейлейн Лизетту и так, черт меня побери, взбесился, что, не имея возможности отомстить, накинулся на молоко и в ярости полностью его выдул. Когда я уже допивал последний глоток, сын садовода бегом примчался в сад и спросил, слышал ли я новость. И так как я охотно желал узнать, что слышно, он сообщил, что фрейлейн Лизетта, которая пробыла так долго вчера вечером у меня в саду, умерла внезапно этой ночью.

Сто тысяч чертей!

Меня так испугала эта весть, что последний глоток молока застрял у меня в глотке. Да, и доктор сказал,

продолжал мальчик, что она, по-видимому, была чем-то сильно опечалена, иначе бы она не умерла, ведь она ничем не болела. Ну и проклятие! Как мне жалко стало эту бабенку — ведь никто, кроме меня, черт возьми, не был виноват в ее смерти, потому что я не хотел на ней жениться. Жалел я эту бабенку, черт меня подери, очень долго, пока, наконец, мне не удалось ее забыть.

Я заказал поэту следующие строки в ее честь и велел их высечь на ее надгробном камне.

Еще и сейчас можно прочесть над ее могилой:

Путник случайный, у этого камня постой,
Подумай, кто скрыт под могильной плитой.
От любовной тоски Лизок почил на ложе.
Поди, угадай! Это наша Лизетта, а кто же.



После этой Лизетты в меня влюбилась дочь одного благородного вельможи, ее звали Дамиген², и она сваталась ко мне. Она была, черт меня побери, тоже несравненная баба. Мне приходилось с ней ежедневно выезжать прогуливаться и постоянно всюду таскаться за ней. Хотя я был очень расположен к дочке вельможи и даже обнадежил ее, что женюсь на ней, я тем не менее еще не дал окончательного слова. Однако уличные мальчишки уже распустили слухи, что девица Дамиген — невеста и как-де этой бабенке повсчаст-

ливилось, что такой благородный молодой человек достался ей в мужья — стоит на него только взглянуть и у всех сердце радуется. Подобные толки ходили по всему городу. И я уже совершенно решил на ней жениться и женился бы, если бы не сударь отец, который без моего и ее согласия не пообещал бы ее другому дворянину. И что же, вы думаете, случилось? Однажды Дамиген попросила меня прогуляться с ней в воскресенье по городу, чтобы я показал себя людям: они слышали от садовода, какой я порядочный и прелестный молодой человек, в глазах которого светится что-то необыкновенное, и поэтому все желали взглянуть на меня. Было нетрудно доставить ей удовольствие. Я вышел с Дамиген прогуляться под ручку по Стокгольму в праздник, который как раз выпал тогда на воскресенье. Завидев, что я со своей Дамиген уже тут как тут, о проклятие, как все стали выглядывать из окон! Они тайком перешептывались между собой, и, насколько я мог уловить, то один говорил: «Да это ведь красавчик!»; то из другого дома второй: «Подобного молодца я не встречал за всю свою жизнь!» То несколько мальчишек, стоявших тут же, вели такой разговор: «Гляди, вот идет бабенка, которая выходит замуж за благородного богатого дворянина, что живет у садовода». На углу несколько служанок болтали между собой: «Ах, люди, только подумать, как повезло девице Дамиген! Она выходит за парня, с которым идет под руку, а бабенка эта даже и не стоит его!» Подобными речами втихомолку перебрасывались прохожие между собой и смотрели нам вслед так, что я, черт меня побери, и передать этого не могу! Когда мы, наконец, пришли на рынок и немного здесь побывали, чтобы поглазеть на народ, нас, как видно, заме-

тил тот самый дворянин, который хотел жениться на Дампген, но я никогда бы не подумал, что этот малый может выкинуть такую дурацкую штуку. В то время, как люди с удивлением смотрели на меня и на мою Дамиген, он зашел с тыла и трахнул меня, черт возьми, так, что у меня с головы скатилась шляпа, а сам он мигом вбежал в соседний дом. Проклятие! Как заскрежетал я зубами от того, что этот парень осмелился так поступить и, если бы он не удрал, я бы, черт возьми, всадил бы ему шпагу ударом ложной квинты в сердце так, что он бы и не встал. Я бы его догнал, если б только Дамиген не удержала меня. Она сказала, что это может наделать большого шума, а я рано или поздно могу встретиться с ним. После этого возражения Дамиген, я вновь надел свою шляпу так изящно, что все люди, выдавшие, как меня трахнули сзади, начали потихоньку говорить между собой, что во мне действительно чувствуется нечто благородное. Хотя я и вел себя в присутствии Дамиген так, словно ничего не случилось, однако был не в силах удержаться и не скрежетать зубами — настолько я был разъярен. Наконец, я предложил Дамиген, если ей угодно, вернуться в загородный сад и еще немного там поразвлекаться. Дамиген во всем слушалась меня, мы направились учтивой походкой обратно к домику садовода, где вместе с Дамиген сели на траву, и я обсудил с ней, как мне отомстить дворянину; затем Дамиген в своей карете поехала обратно в город, домой.

На следующий день, узнав, где проживает тот малый, что залепил мне оплеуху, я послал к нему сына садовода и велел передать, что буду считать его не храбрецом, а самым жалким трусом на свете, если ок в такое-то время не прибудет на большой лут с парой

добрых пистолетов, а там я ему докажу, что я человек смелый. Ну и проклятье! Что тут произошло, едва сынишка садовода утер нос дворянину этими словами и начал выкладывать о пистолетах, как перепугался этот парень! Он не знал, что ответить мальчишке! И когда тот спросил, какой ответ он должен принести своему благородному господину, он, наконец, признался, что, действительно, сбил у меня шляпу с головы — его очень раздосадовало, почему я вел девицу Дамиген под руку, а ведь она — его будущая жена, и он этого совершенно стерпеть не может. Но, чтобы из-за оплеухи я вызвал его драться на пистолетах, этого он вовсе не ожидал, ведь выстрел — дело особое, он, пожалуй, может угодить в него или в меня, а какая нам от этого польза? Нет, на это он не пойдет, а вот если я пожелаю с ним драться на кулачках, то он сначала попросит разрешения у своей мамыши. Но коли она этого ему не позволит, то никакого иного реванша за оплеуху он предложить мне не может. Ох и проклятье! Когда мальчуган принес мне ответ дворянина, я, черт возьми, хотел было тотчас же его испотрошить. Я готов был это исполнить и начал снова размышлять над тем, как мне его отделать. Во-первых, я намеревался сбить его с ног на улице и пойти своей дорогой, но, подумал я, где же найдет меня моя Дамиген? Наконец, я решил отплатить ему двойной оплеухой и излупить его тростью при всем обществе. И я бы это обязательно выполнил, если б только этот парень не наделал такого большого шума из-за моего вызова, что меня от имени одной высокопоставленной особы попросили забыть все это дело, ведь достаточно и того, что я уже всем показал, какой я редкий храбрец. Узнав, что меня от имени одной высокопоставленной

особы просят оставить его в покое, и все меня и без того считают храбрейшим малым на свете, я бросил о нем и думать. Но своей Дамиген я тоже не добился: ее отец, правда, сказал мне, что ему хорошо известно, какой я редкий храбрец, но он обещал свою дочь дворянину, а недворянину нечего и надеяться ее получить. На это я ему учтиво заметил, что он прав, считая меня человеком редкой храбрости, но я никогда не домогался его дочери, наоборот, она хотела меня заполучить. Когда старый вельможа упрекнул в этом свою дочь, она сказала, да, это так, она не выйдет за того, кого ей навязывают, а если она не может выйти за меня, то не выйдет замуж совсем. После этих слов отец Дамиген страшно вспылил и, пригрозив ей самым суровым наказанием, запретил ей приезжать ко мне и приказал, чтобы никто не выпускал ее за городские ворота. И так как я теперь не имел возможности по-прежнему видаться с Дамиген, то добрая бабенка почувствовала себя очень худо, и все упрекали сурового отца за то, что он отказал мне в ее руке. После этого я окончательно решил покинуть Стокгольм, я и так пробыл здесь два года. За день до посадки на корабль я еще раз отправился в сад, взглянуть, скоро ли созреют сливы. В то время, как я осматривал одно дерево за другим, ко мне примчался во весь дух сыннишка садовода и сообщил, что кто-то в санях с колокольчиками ожидает меня у ворот и очень хочет со мной переговорить, на нем большая зеленая шуба, подбитая лисой. Но я не сразу вспомнил, кто бы это мог быть. Но, наконец, вспомнил о брате моем господине графе,— не он ли это?— и вместе с мальчуганом стремглав выбежал из сада. У ворот я, действительно, черт меня подери, встретил брата моего господина графа,

брошенного мной в Гамбурге на произвол судьбы. О будь я проклят! Как мы оба обрадовались нашей встрече! Я тотчас же направился с ним в комнату садовода и распорядился, чтобы ему дали что-нибудь поесть и выпить, ибо он, черт возьми, совершенно изголодался, а его лошадь выглядела совсем тощей — мальчишка садовода вынужден был оседлать ее и погнать подкормиться на луг. Между тем граф рассказал мне обо всем, что случилось с ним тогда в Гамбурге, и как жожалела обо мне мадам Шармант, когда я вынужден был спасаться бегством, столь неожиданно покинув ее. Он привез мне от нее послание, которое она написала наугад и поручила его передать мне; так как я не сообщил ей, где нахожусь, то она уже считала меня



умершим. Содержание письма, и притом в стихах, было таково ³:

Жив ли ты? Иль уж сокрыт в могиле
Не шлешь ни письма, ни привета ты. Ах!
Увы мне, то что в памяти верно хранила
И во снах целовала, давно обратилось во прах.
Если жив ты, прочти, что смогла я доверить бумаге,
Знай, что Шармант безутешна теперь,
Когда город покинул ты в безумной отваге
И бежал от него, точно загнанный зверь.
Но, красавец, как путь твой опасен бы ни был,
Если жив, напиши, где тебя отыскать,
Мы увидимся с тобой, нам поможет небо,
Стоит лишь твоей Шармант слово написать.

Прочитав письмо, я так затосковал о Шармант, что не мог удержаться от рыданий, велел брату моему, господину графу, поесть, а сам вышел за дверь и ревел, черт возьми, как маленький мальчишка; наревевшись, я попросил садовода дать мне перо и чернила, мне-де надо сразу ответить на письмо. Садовод сказал, что все это находится наверху в летней комнате и, если я желаю, то он прикажет принести все это сюда вниз, но, если мне угодно писать наверху, где никто не помешает мне разговорами, то, пожалуйста, я могу заняться и там. Мне это понравилось, и я попросил брата моего, господина графа, извинить, что я на некоторое время оставляю его в одиночестве, я только намерен написать ответ на письмо Шармант. Брат мой, господин граф, на это сказал, чтобы я с ним не церемонился и писал столько времени, сколько мне захочется, он меня не будет беспокоить. С тем я и вышел из комнаты и собирался быстро взбежать по лестнице наверх, но, не заметив, что одна ступенька

выломана, я попадаю правой ногой в дыру и мигом, черт меня поберет, ломаю ногу. О проклятье! Как я заорал! Все сбежались, в том числе и господин граф, начали спрашивать, что со мной, но никто мне не мог помочь, раз уж нога разлетелась на кусочки. Садовод быстро послал за костоправом, чтобы тот пришел и перевязал меня, ибо, черт возьми, он был мастер чинить переломы. Он мне умело привел ногу в порядок, хотя и возился с ней целых двенадцать недель. Начав понемногу ходить, я прежде всего послал ответ Шармант, который гласил следующее и был также искусно составлен в стихах:

Любезной Шармант, дела отложив,
Шельмуфский спешит сообщить, что жив.
Правда, 12 недель, как сломал он правую ногу,
Но в этой беде костоправы ему помогут.

Господин брат мой граф в неизменных санях
Прибыл ко мне и привез мне письмо на днях,
Из которого видно, что Шармант хочет знать,
жив я или нет.
Да, черт возьми, я и не собираюсь на тот свет.
А живу я сейчас в земле шведов,
Если хочешь, дитя, меня проведать,
Под Стокгольмом у садовода я снимаю квартиру покуда,
Но торопись, ибо там не долго пробуду.
Приезжай скорей, если хочешь меня встретить,
Это все, что я хотел тебе ответить.
Засим будь здорова и не знай тоски,
Навсегда твой прелестный юноша Шельмуфский.

Хотя я и не очень настропалился в стихотворстве, но это стихотворное послание, черт меня подери, мне весьма удалось. Я послал его с мальчишкой на стокгольмскую почту, с тем чтобы оно «спешно» было доставлено в Гамбург. Не прошло и четырех недель, как

появилась собственной персоной и моя возлюбленная Шармант. Едва увидев меня, эта бабенка, будь я проклят, не просто бросилась мне на шею и расцеловала, а чуть всю мою морду, черт возьми, из любви не откусила. Затем она поведала также, как гамбургская стража трижды искала меня в ее постели, потому что я перекалечил столько людей, и как все в танцевальном зале сожалели, что лишились моего общества, ибо я был превосходным прыгуном. Пришлось и мне рассказать ей, что приключилось со мной с тех пор, как я удрал из Гамбурга. Я рассказал ей все, и о шторме на море, и о том, каких разных рыб я перевидал, но об оплеухе в Стокгольме из-за девицы Дамиген я не обмолвился, черт возьми, и словечком. Хотя я собирался вновь сесть на корабль и продолжать свое знакомство с миром (ибо нога моя уже совсем зажила), я все же согласился на просьбу Шармант, что останусь в Стокгольме еще с полгода и покажу ей то, да се, наиболее примечательное. Но только как раз в Стокгольме ничего особенно и не увидишь, кроме того, что город — славный, расположен очень живописно, а вокруг красивые сады, луга и превосходные виноградники, где выделывают, черт побери, лучший рейнвейн. Рыбы и всего такого прочего здесь так же мало, как и в Гамбурге. Форелей, правда, предостаточно, но кому же не надоест питаться всегда только одной и той же породой рыб; зато скотоводство там из-за богатых пастбищ невиданное, и есть коровы, которые, черт возьми, дают, наверное, до 40—50 кувшинов молока. А зимой эти же коровы сразу дают масло, напоминающее, черт меня побери, прекраснейший воск, застывший извиистой струей.

Побывав, наконец, всюду со своей Шармант и пока-

зав ей в Стокгольме то, да се, наиболее примечательное, я собрался с ней и братом моим господином графом вновь в путь, расплатился с садоводом, и мы договорились с капитаном корабля, который должен был захватить нас в Голландию. После того как с кораблем дело было улажено, господин граф погрузил на него также и свои сани с бубенцами и лошадь, дабы по прибытии в страну вновь разъезжать в санях. Перед отплытием мы попрощались с садоводом и еще раз поблагодарили за оказанный нам добрый прием. И тут, черт возьми, он начал реветь, как малый ребенок,— так опечалила его разлука с нами. Напоследок он преподнес мне чудесный цветок, и хотя у него были черные, как смоль, лепестки, аромат он издавал, черт меня побери, на целую милю вокруг. Он называл его Виола кольраби⁴, и я захватил его с собой. Затем, наконец, мы отправились в гавань, на корабль. Добравшись туда, мы встретили, проклятье, уйму народу, желавшего ехать в Голландию, там было, черт их возьми, тысяч шесть, и все они сели с нами на судно и были намерены посмотреть на Голландию. О том, как худо нам на этот раз пришлось на море, вы прочтете в нижеследующей главе, и у вас станут волосы дыбом.

* Глава четвертая *



Мы отплыли из Стокгольма как раз в то время, когда начали созревать вишни и виноград. Проклятие! Какая теснота и давка царили на судне от такой уймы людей! Мне, моей возлюбленной Шармант, а также брату моему, господину графу, отвели отдельную удобную каюту, ибо капитан приметил, что мы люди благородного звания, а прочие шесть тысяч, черт возьми, вынуждены были по очереди спать на соломе. Несколько недель мы весьма благополучно продвигались вперед, и настроение у всех нас на корабле было бодрое и веселое, пока мы не достигли острова Борнхольма¹, где масса подводных камней, и капитан, не знающий прохода, может запросто опрокинуть судно. О проклятие! Какой шторм, какая свирепая буря сразу же поднялись на море; ветер, черт побери, обрушивал на судно волны выше самых высоких башен,

и наступила тьма-тьмущая. Вдобавок еще, к величайшему несчастью, капитан забыл свой компас на столе в харчевне в Стокгольме и поэтому не ведал, где находилось судно и с какой стороны его следует провести между рифами. Ужасный, свирепый шторм бушевал четырнадцать суток и днем и ночью, а на пятнадцатый день, когда казалось, что теперь он немного поутихнет, вновь поднялась буря, и ураган так швырнул наше судно на скалы, что оно, черт меня побери, разлетелось на тысячи кусков. Проклятье! Что творилось в море! Капитан, корабль и все, кто находились на нем, мигом пошли ко дну и, если бы я и брат мой, господин граф, не ухватились проворно за доску, на которую мы сейчас же легли и поплыли, то никакого выхода бы не было и мы отправились бы на тот свет вместе с прочими шестью тысячами. О проклятье! Что за жалобные вопли раздавались в воде! Ни о ком я так не сожалел в ту минуту, как о моей милейшей Шармант и, когда я о ней вспоминаю, у меня еще и сейчас, черт возьми, выступают слезы. Ибо я слышал, как она, наверно, раз десять звала в воде: «Прелестный юноша!» Но чем я ей мог помочь? Я должен был, черт меня побери, заботиться о себе, чтобы мне самому не свалиться с доски, а не то, чтобы спасти ее. Я всегда глубоко сожалел об этой бабенке, так внезапно расставшейся с жизнью. Ни одной души, черт возьми, не осталось в живых, кроме меня и господина графа, ухватившихся за доску. Немного поглядев издали с нашей доски на эту трагедию, мы, загребая руками, двинулись прочь и вынуждены были проплыть, наверно, свыше ста миль, пока вновь не достигли земли. Спустя три дня, мы увидели шпили и башни Амстердама и направили тотчас же к ним свой путь,

а на четвертый день, в десять часов утра, после многих пережитых опасностей мы причалили с нашей доской к берегу, позади сада бургомистра. Затем мы прошли через сад бургомистра к дому его; брат мой, господин граф, нес доску, а я шел впереди. Когда мы открыли калитку сада, ведущую во двор бургомистра, он как раз стоял в дверях дома и тут-то он нас, приближавшихся к нему, и увидел. Не могу и передать, с каким изумлением глядел он на нас, ибо мы были похожи на мокрых крыс и у господина графа вода все еще стекала ручьями с бархатных штанов, словно его поливали из ушатов. Но я кратко и искусно, в двух-трех словах, рассказал господину бургомистру о том, как мы потерпели кораблекрушение и долго плыли на доске, прежде чем достигли земли. Господин бургомистр, который был, черт возьми, славным, порядочным человеком, глубоко посочувствовал нам, повел нас в свой дом, велел хорошо протопить печь, чтобы я и брат мой, господин граф, просохли в нише за печкой. Как только тепло от печи начало немного идти нам на пользу, господин бургомистр завел разговор и спросил, кто мы такие. Я тотчас же весьма искусно рассказал ему о своем рождении и о том, что при этом случилось с крысой. Тысяча чертей! Какие он вылупил глаза, когда я ему рассказал подобные вещи о крысе, и впоследствии всякий раз в беседе со мной он держал свою шапчонку под мышкой и величал меня не иначе, как «Ваше высокоблагородие, Ваше сиятельство». После этого рассказа господина бургомистра вызвали, и он отсутствовал, вероятно, с полчаса. Я и брат мой, господин граф, страшно проголодались, потому что в течение четырех суток не имели и маковой росинки во рту, и, так как в комнате никого не

было, мы решили разведать, что хорошего найдется у господина бургомистра за печной трубой. Господин граф залез туда рукой и вытащил, черт меня побери, огромный горшок с кислой капустой, принадлежавший, вероятно, прислуге. Проклятье, как мы накинулись на эту капусту и уничтожили ее, черт возьми, дочиста! Прошло немного времени, как нас с братом моим, господином графом, ужасно затошнило, потому что мы нажрались капусты без хлеба, на пустой желудок. Ну и дьявольщина, как начало нас тут рвать и мы наблевали господину бургомистру полную нишу за печью; по всему дому пошла такая вонь, что мы сами едва могли здесь находиться. Вернувшись, господин бургомистр, учуяв эту вонь, осведомился у меня: «Ваше сиятельство, по-видимому, подпалило одежду, поэтому так пахнет?» Сто тысяч чертей! Ну, что я на это мог сразу ответить благородному человеку? И я ему рассказал тотчас же учтивым манером, что мы были очень голодны, добрались до горшка с кислой капустой и уплели ее, а когда наши желудки не приняли ее, то нас начало рвать, а отсюда, наверное, и пошла вонь. Проклятье! Услышав, как я столь ловко изложил все это, он сразу же кликнул служанку, чтобы она убрала нишу и немного прокурила комнату. После этого он распорядился немедленно же накрыть стол и потчевал меня и господина графа весьма тонкими яствами. После еды несколько самых важных городских советников пришли к бургомистру и нанесли мне и брату моему, господину графу, визит; они пригласили нас к себе в гости и оказали нам такие большие почести, что могу заверить, Амстердам, черт возьми, превосходный город. Как раз в то время в одной благородной семье готовилась свадьба, на которую и я был пригла-

шен с братом моим, господином графом. Один английский лорд из Лондона вступал в брак с дочерью благородного амстердамского советника, и так как по тамошнему обычаю люди высокого звания, приглашенные на свадьбу, обязаны были напечатать свадебную песню, специально сочиненную в честь жениха и невесты, и поднести им, то я и здесь хотел показать себя молодцом. В это время приближался день святой Гертруды², когда прилетают аисты, и так как невесту звали Трудой, то я решил свое поэтическое вдохновение связать с аистом, и заглавие должно было гласить: «Веселый аист» и пр. Я принялся за песню и просидел свыше четырех часов, но хоть бы одна строка пришла мне в голову! Черт меня побери, я не мог выжать из себя и слова, подходящего для радостного аиста, и обратился к брату моему, господину графу,— может быть он попытается хоть что-нибудь сочинить, потому что мне ничего не приходит на ум. Господин граф ответил, что так как он когда-то ходил в школу, то немного научился рифмовать, однако удастся ли это ему сейчас, он не ручается, во всяком случае он попробует, выйдет ли у него что-нибудь. С этими словами граф сел, взял перо и чернила и начал сочинять. Вот что он накропал³:

Вот жаворонок в небе легкой тенью,
Мать Флора гнездышко неспешно покидает,
Еще богиня Майя почивает,
Еще не радуется природы пробужденье,
Однако же...

Спустя полчаса, как он прокорпел над этими строками, я заглянул сзади через его плечо в бумажку и увидел, что он сотворил. Прочитав такую чепуху, я,

черт меня побери, посмеялся над братом моим, господином графом, за то, что он, черт возьми, написал такую нелепую нескладщцу. Ибо вместо того, чтобы упомянуть аиста, он всунул жаворонка, а там, где должно было стоять имя «Труда», он помянул даже вуаль фаты⁴, разве только что вуаль уместна при свадьбе? И притом, ведь концы должны же рифмоваться!⁵ Но «тенью» и «покидает» подходят друг ко другу, как корове — седло. Он готов был и дальше ломать себе голову, однако я велел ему это оставить и лучше лечь спать. И хотя мне за целый день тоже ничего создать не удалось, я вновь принялся за дело на следующий день с раннего утра и постарался все же сочинить невесте песню об аисте и Гертруде. Едва я взял в руки перо, как же, будь я проклят, вдохновенные мысли насчет аиста пришли мне в голову, и я, черт возьми, просидел не более полдня, как она уже была готова и звучала вот как:



Веселый аист и пр.

Скоро Гертруды святой именины,
Аист готовит подарков корзины.
В небе веселая птица плывет
И кое-что Труде невесте несет.
Чертовски приятный подарок! Она же
Три четверти года его не покажет.

В день свадьбы мои поздравленья примите,
Будьте здоровы и долго живите.
Не знать вам печали, не ведать тоски
Ваш благородный

фон Ш е л ь м у ф с к и й.

Накануне дня свадьбы отец невесты обратился ко мне и брату моему, господину графу, чтобы мы оказали его дочери большую честь и повели ее к венцу; на это я отвечал родителю невесты весьма учтиво, что я, со своей стороны, охотно готов это сделать, но сможет ли присутствовать брат мой, господин граф, очень сомневаюсь, так как бедняга схватил перемежающуюся лихорадку и совершенно свалился. Отец невесты очень сожалел об этом, и так как это стало невозможно, то место графа занял господин бургомистр. Когда я вел невесту к венцу, какая, будь я проклят, толпа народу набежала, все были готовы передавить друг друга, чтобы только каждому взглянуть на меня! Ибо я весьма пристойно выступал рядом с невестой в длинном шелковом плаще с красным бархатным воротником. Такова мода в Амстердаме,— люди благородного звания носят там черные плащи с красными бархатными воротниками и высокие островерхие шляпы. Нельзя и выразить, как мило вел я девицу к венцу и как мне шел длинный плащ с красным бархатным воротником! Когда после венчания начался свадебный пир, меня посадили рядом с невестой на самом почетном месте, рядом с женихом, а ниже расселись прочие особы благородного звания, которые все, особенно же те из них, что еще не успели рассмотреть меня хорошенько, глядели на меня с величайшим изумлением и, наверное, думали про себя, что

я один из самых знатных и самых храбрых молодцов на всем свете (а ведь это так и было!), если мне предоставили самое почетное место. После того, как мы немного закусили, распорядитель встал из-за стола и возвестил, что если кто из господ знатных гостей приготовил в честь жениха или невесты песню, то пусть будет любезен презентовать ее. Ну и проклятье! Как они все разом полезли в карманы и начали вытаскивать отпечатанные бумажонки, намереваясь их вручить. Однако заметив, как я все время шарю в штанах, они сразу догадались, что я тоже что-то сочинил и никто не посмел меня опередить. Наконец, я извлек из подкладки штанов свою песню, которую распорядился отпечатать на красном атласе. Сто тысяч чертей, какое это произвело впечатление! Я преподнес ее прежде всего невесте, присовокупив чрезвычайно тонкий комплимент. Что за мину, проклятье, состроила эта бабенка, взглянув на название, а когда она затем прочитала песню, то закатила, черт возьми, глаза, как теленок, и я уверен, что в этот момент она размышляла о том, чтобы хоть поскорей уж прилетел аист. Прочие гости, почуяв, что моя свадебная песня, пожалуй, окажется самой лучшей, почти все сунули свои презенты в карман. Правда, некоторые преподнесли их, но ни невеста, ни жених, не удостоив взглядом ни одного из них, положили их сразу же под тарелку; зато вокруг моей песни началась настоящая толкотня — каждый хотел ее увидеть и прочитать. А почему? Во-первых, она отличалась поразительной выдумкой и, во-вторых, чрезвычайно искусным и прелестным немецким языком. Напротив, в стихах прочих знатных особ встречались одни исковерканные слова да нелепая немецкая речь. Ай да проклятье!

Какое удивление вызвала моя песня, когда ее прочитали; все начали перешептываться и смотрели на меня с необычайным изумлением, какой я молодец, и говорили потихоньку между собой, будто во мне скрыто что-то великое. Вскоре затем жених поднялся и предложил выпить за мое здоровье. Ну, будь я проклят! Тут как начали наперегонки подыматься все знатные особы, отвечивая мне поклоны! А я все сидел и рассматривал их одного за другим с таким любезным выражением лица, что у господина бургомистра, у которого мы квартировали с братом моим, господином графом, трясся живот от смеха, так искренно радовался он, что все оказывали мне такое почтение. А почему? Да ведь для него самого было боль-



шой честью, что в его доме остановилась такая благородная персона, как пменно я. После того, как тост за мое здоровье обошел весь стол, я попросил распорядителя дать мне огромный кувшин для воды, вмещавший по здешним мерам двадцать четыре наших кружки, наполнить его вином и передать мне через стол. Видя это, жених и невеста, а также прочие гости, разинули, черт возьми, рты и не ведали, что я намерен делать с ним. А я поднялся пзящным манером, взял кувшин и провозгласил: «Многая лета невесте Труде!» Тысяча чертей! Тут передо мной и склонились в три погибели все знатные особы! Затем я поднес сосуд ко рту, выдул, черт возьми, залпом двадцать четыре меры вина и бросил кувшин на кафельную печь, так что он разлетелся на кусочки. Ай да проклятье, весь народ глаза вытаращил на меня. И если до этого они пзумлялись, читая мои свадебные стихи, то теперь-то они особенно удивились, увидев, как искусно я осушил целый кувшин вина. Затем я миглом велел распорядителю налить второй такой же кувшин вина и подать через стол, и его я выдул точно так же за здоровье жениха — его звали Тофель⁶. Ну, будь я проклят! Надо было видеть, как все дочери советников, сидевшие за другим столом, любопытствуя, вытянули шеи по направлению ко мне, — эти бабенки были ужасно поражены тем, как умело я пью. Вскоре меня охватил неожиданный и мгновенный сон, который невозможно было прогнать, я вынужден был положить голову на стол и малость помолчать. Увидев это, невеста предложила мне немного прплечь на ее колени, потому что стол-де жесткий. Не долго раздумывая, я и поступил так. Но я не мог долго лежать на ее коленях, ибо на них мне было

низковато, начала болеть голова, и я вновь положил ее на стол. Тогда жених попросил распорядителя принести сверху, из комнаты невесты, подушечку, чтобы мне не было так жестко. Распорядитель вмиг побежал и принес подушку; невеста положила ее в уголок и предложила мне на нее лечь и с полчаса подремать, и я расположился на скамье позади стола, правда, впритык возле меня сидел один знатный господин, но он вынужден был отодвинуться, чтобы я не запачкал ногами его шелковое платье.

Не прошло, быть может, и пяти минут, как я, лежа таким образом, почувствовал, проклятье, тошноту и начал стонать. Невеста, расположенная ко мне более, чем к другим, подходит и спрашивает, что со мной, но не успели ни я, ни она опомниться, как меня начало рвать и я наблевал ей полную пазуху, так что рвота начала вытекать у нее снизу из-под платья. Тьфу, дьявольщина! Поднялась такая вонь, что, учуяв ее, все вынуждены были удалиться, а невеста вышла сразу из комнаты и намерена была переодеться; меня же вино настолько оглушило, что я, черт возьми, не мог очухаться и понять, где я нахожусь. Знатные особы, заметив, что я окончательно нализался, велели доставить меня на квартиру, чтобы я отоспался. Проснувшись на следующий день, я, черт меня подери, и не помнил, что натворил прошлым вечером, так я наклюкался; слышал только, что по улице идет молва о том, как один благородный господин иностранец вчера вечером здорово напился и ужасно блевал, из чего я и предположил, что должно быть хватил лишку. Когда дело подошло к обеду, появился свадебный распорядитель и попросил меня, чтобы я поскорее пожаловал в дом невесты, ибо все ожидают откушать со мной

супа, ею приготовленного. Я встал, тотчас же привел себя в порядок и велел распорядителю передать, чтобы они повременили полчаса с едой, я сейчас прибуду. Вскоре за мной к дому бургомистра подъехала свадебная карета, запряженная четверкой. Когда я подъехал к дому невесты, жених Тофель и невеста уже стояли в дверях, собираясь меня встретить: они открыли мне дверцу кареты и я мигом выскочил из нее и перепрыгнул через жениха так, что любо-дорого было смотреть. Затем они проводили меня в комнату. Будь я проклят, какие низкие поклоны отвешивали мне знатные особы! Меня поместили сразу же вновь рядом с невестой, а слева сидела дочь одного советника — тоже, черт возьми, прехорошенькая девчонка — ибо мужчин и женщин на этот раз рассадили вперемежку. Так как я не знал, что вчера наблевал невесте за пазуху, то жених Тофель напомнил мне об этом, осведомившись, лучше ли я чувствую себя после вчерашней рвоты. Сто тысяч чертей! Как перепугался я, что вчера «устроил» такой фонтан за столом! Однако я ответил на это Тофелю, то есть жениху, весьма учтиво и сказал, что я порядочный молодой человек, подобного которому редко сыщешь на свете, а наблевал я невесте полную пазуху спьяну, неожиданно, и надеюсь, что она уже отмыла свои платья. И хоть бы кто-нибудь после этого обмолвился словечком! Господин бургомистр уже знал, каков я и что никто не осмелится задеть меня и, зная как со мной следует обходиться, хохотал поэтому беспрестанно до упаду. В конце концов, я подумал про себя, следует опять рассказать что-нибудь удивительное, дабы они разинули рты от изумления и считали меня молодцом. И я начал рассказывать о своем необычайном рождении и

случае с крысой. Ай да проклятье! Как глядели все на меня за столом и особенно жених Тофель. Та самая дочка советника, что сидела возле меня, напомнила, как две капли воды, мою утонувшую Шармант; раз десять, наверно, она шептала мне на ухо и просила, чтобы я все-таки еще раз рассказал о крысе, и интересовалась, велика ли была та дыра, куда она скрылась после того, как изгрызла шелковое платье. Она мне предложила также руку и сердце и спросила, возьму ли я ее в жены,— отец сразу же даст за ней 20 000 дукатов⁷, не считая тех, что она должна еще получить по наследству от матери. На это я ответил ей весьма учтиво, что так как я порядочный молодой человек, уже многое испытывший на свете и желающий еще испытать, то не могу сразу решиться, мне нужно малость подумать. Во время беседы с дочерью советника о браке жених, господин Тофель, спросил, почему я не привел с собой господина графа. Я ему весьма учтиво объяснил, что его ежедневно трясет лихорадка и он не может долго быть на ногах и просил извинить его, ибо на сей раз он не в состоянии выступать в роли свадебного гостя. На этом обед закончился и начались танцы. Ну провалиться мне на месте до чего тоже изящно танцуют девушки в Голландии, как мило и ловко, черт возьми, перебирают они ногами! Пришлось и мне с ними потанцевать, а именно с дочерью советника, сидевшей от меня за столом слева и сватавшейся ко мне. Сначала плясали только простонародные танцы — сарабанду, жигу, балетту⁸ и прочие. Все эти вещи я тоже танцевал. Ей-ей! Как глядели они на мои ноги, ведь я очень изящно перебирал ими. После того, как мы попрыгали изрядное время, кавалеры и дамы затеяли чрезвычай-

но милый хороводный танец, в котором я тоже принял участие. Суть его заключалась в следующем: кавалеры и холостяки становились в круг, и на плечи каждого мужчины взбиралась дама и закрывала юбкой лицо кавалера на столько, что он не в состоянии был ничего видеть, а затем начинали играть пляску мертвецов⁹. Ну и проклятие, до чего же здорово ладился танец! На моих плечах стояла влюбившаяся в меня дочь советника, и я кружился с ней очень мило.



Сто тысяч чертей, какой тяжелой была эта бабенка, я, черт возьми, здорово устал, а ведь ни один кавалер не мог выйти из танца, пока его дама не свалится.

После окончания хоровода, они все начали меня умолять, чтобы я все-таки показал, как я танцую один. Для меня не составляло труда доставить им удовольствие и протанцевать одному. Я встал, пожаловал музыкантам два дуката и приказал: «А ну, господа, сыграйте-ка мне лейпцигскую уличную песенку!» Ну и ну! До чего же здорово они начали пиликать эту штучку! И вот тогда я принялся прыгать, чисто как козел, то вправо, то влево, делая прыжки высотой в несколько сажень, так что все опасались, как бы что-нибудь из меня не выскочило. Будь я проклят! Сколько народа прибежало с улицы в дом и смотрело на меня с величайшим изумлением. Закончив танцевать лейпцигскую песенку, я, чтобы немного остыть, вынужден был пойти малость погулять по городу Амстердаму с той самой дочкой советника, которая жаждала быть моей милой супругой. Я согласился и прошелся немного с этой бабенкой по городу ибо я его и сам еще основательно не осмотрел. Итак, она меня провела повсюду, где было что-нибудь достопримечательное, я посетил с ней и амстердамскую биржу, которая, черт возьми, здорово построена! Она показала мне также и надгробный памятник бывшему адмиралу Рейтеру¹⁰, установленный здесь на вечную его память, ибо этот Рейтер был замечательным морским героем, и еще по сей день здесь оплакивают его кончину. Познакомив меня со всякой всячиной, дочка советника обратилась ко мне и попросила, чтобы я все-таки на ней женился, если у меня нет охоты остаться с ней в Амстердаме, то она готова собрать свои пожитки и поехать со

мною, куда я захочу, хотя бы отец ее об этом ничего и не знал. На это я ей ответил тотчас же, что так как я один из самых порядочных молодых людей на всем свете, то это, пожалуй, и может случиться, но не сразу, я хотел бы подумать над тем, как обтяпать такое дельце и в ближайшие дни дам ей знать. После этого я вновь направился в зал, где происходили танцы и захотел проведать, куда же делась моя будущая возлюбленная, мгновенно сбежавшая от меня на улицу. Я проглядел все глаза, но никак не мог ее найти. Наконец какая-то старая женщина спросила меня: «Ваша милость, кого вы ищете?» Я осведомился, не видала ли она девицу, что сидела за столом слева от меня. «Да, Ваша милость, я ее видала, но ее господин отец велел ей отправляться домой и ужасно разбранил за то, что она решилась на такой дерзкий поступок и таскалась по городу с таким знатным человеком: пойдут-де разговоры, а Ваша милость ведь на ней не женится». Услышав эту весть от старушки, я спросил, скоро ли вернется дочка советника. Она вновь ответила, что очень в этом сомневается, ибо господин отец (как она слыхала) сказал ей: «Посмей только встретиться вновь с этим знатным господином!» Проклятье! Какая досада разобрала меня из-за того, что я эту бабеночку больше не увижу и, так как она не вернулась, я передал жениху Тофелю и невесте Труде мой свадебный подарок, простился весьма учтиво с ними и прочими важными особами и с дамами и направился в дом бургомистра. И, несмотря на то, что они в тот же день двадцать или тридцать раз посылали за мною свадебную карету, запряженную четверкой, и умоляли, чтобы моя благородная персона присутствовала на свадьбе хотя бы только в этот ве-

чер — пусть даже в следующие дни я и не пожелаю прийти — я, черт возьми, туда больше не пошел, а всякий раз отсылал карету пустой. Жених, господин Тофель, через господина бургомистра велел мне передать, что он не может себе и представить, будто кто-нибудь из гостей, бывших на свадьбе, оскорбил меня, я все же должен сказать ему, что со мной случилось, он готов нести ответ за все. Но ни одна душа, кроме той старушки, не узнала, что я так разозлился из-за дочери советника, из-за того, что не мог больше видеться с ней. Я хотел в этот же день сесть на корабль, если бы только брат мой, господин граф, не просил меня так усердно не оставлять его нездоровым, а продлить свое пребывание до того, как он избавится от лихорадки; после этого он готов со мной ехать, куда угодно. Ради брата моего, господина графа, я и остался в Амстердаме еще на целых два года и большей частью проводил время в картежных домах, где всегда можно было встретить превосходную компанию благородных дам и кавалеров. После того, как проклятая лихорадка оставила брата моего, господина графа, в покое, мы пошли с ним в банк, получили деньги по новым векселям, сели на корабль, намереваясь посмотреть Индию, где была резиденция Великого Могола.



· Как раз начались самые жаркие дни, когда я и брат мой, господин граф, простились с амстердамским бургомистром и сели на большой военный корабль. Уже около трех недель плыли мы в Индию, как вдруг достигли места, где шныряло ужасно много китов; я их приманил кусочком хлеба совсем близко к борту нашего судна. У одного из матросов была удочка, я взял ее и попытался подсечь одного из китов прямо с корабля; и это, черт возьми, удалось бы мне, если б только удочка не разломалась на кусочки, ибо, когда кит клюнул и я крепко потянул назад, дрянь эта треснула пополам, и часть ее, с крючком, застряла в пасти кита, отчего он несомненно сдох. Заметив это, остальные киты уже при виде только тени от лески убегались прочь, и ни одного из них, черт возьми, не было у нашего судна. Отсюда мы продолжали плыть даль-

ше и через несколько дней увидели кисельное море¹, мимо которого нам пришлось проезжать весьма близко. Ну и проклятие, сколько кораблей находилось там, в этом кисельном море, словно, черт возьми, перед тобой огромный засохший лес из сухих деревьев и ни одной души не было видно на судах. Я осведомился у капитана, почему здесь скопилось так много кораблей? Он ответил, что суда эти загнал сюда во время бури штормовой ветер; когда корабли направляются в Индию и сбиваются с курса, то на всех кораблях люди погибают самым печальным образом. Миновав кисельное море, мы подошли к экватору. Ну и дьявольщина, что за жара тут началась! Солнце опалило нас всех дочерна. Мой брат, господин граф, будучи мужчиной солидным и толстым, заболел на экваторе от этой свирепой жары, слег и помер, черт возьми, мгновенно, так что мы не успели и опомниться. Проклятье, как меня опечалило, что ему пришлось там помереть,— ведь он был моим лучшим спутником. Но что я мог поделать? Ведь он умер, и как бы я о нем ни тужил, я бы его все равно не оживил. По морскому обычаю, я привязал его весьма аккуратно к доске, всунул в карманы его бархатных штанов два дуката и отправил его в море; и где он, черт возьми, сейчас покоится, этого я никому сказать не могу. Три недели спустя после его смерти, благодаря попутному ветру, мы прибыли в Индию, высадились на прекрасном Троицыном лугу² и, заплатив капитану за проезд, разошлись в разные стороны. Я сразу же осведомился, где проживает Великий Могол; сначала я спросил одного мальчугана в зеленой шапочке, пасшего гусей на том самом Троицыном лугу, где мы высадились. Я обратился к нему весьма учтиво: «Послушай, ма-

лыш, не скажешь ли ты мне, где живет в этой стране Великий Могол?» Но мальчуган еще даже не мог говорить и только указал мне куда-то пальцем и произнес: «А-а». Черт его знает, что значило это «А-а». Я пошел по лугу дальше, и мне попался навстречу то-чильщик ножей, я спросил и его, не может ли он мне сообщить, где проживает Могол. Тот мне сразу же объяснил, что в Индии есть два Могола, одного зовут Великим, а другого Малым. Узнав, что я желаю видеть Великого, он мне немедленно сообщил, что я нахожусь примерно в часе ходьбы от его резиденции, мне нужно лишь идти по Троицыну лугу все дальше, не боясь, что заблужусь, а за ним будет высокая стена; мне только требуется идти вдоль нее, а она уж приведет меня к воротам крепости, где находится Великий Могол, его резиденция называется «Агра». Вы-



слушав объяснения точильщика, я двинулся дальше по Троицыну лугу и по пути вспомнил о мальчонке в зеленой шапочке, который сказал мне «А-а»; ручаюсь, что маленький проказник, хотя еще и не мог хорошо говорить, все же понял меня и знал, где живет Великий Могол, так как он не мог произнести слово «Агра», он пролепетал только «А-а». Сведения точильщика оказались, черт возьми, верными, тютелька в тютельку, ибо едва кончился луг, как я подошел к высокой стене; я пошел вдоль нее и очутился у огромных ворот, перед которыми стояло, наверно, свыше двухсот телохранителей с обнаженными мечами; все они были одеты в зеленые шаровары и колеты с рукавами, как окорок. Я сразу понял, что Великий Могол живет здесь, и осведомился у телохранителей, дома ли государь, на что все они разом гаркнули «да!» и спросили, что мне угодно. И тогда я тотчас же объяснил телохранителям, что так как я порядочный молодой человек, уже многое повидавший на свете и желающий повидать еще больше, то пусть они доложат обо мне Великому Моголу, кто я, мне хочется с ним немного побеседовать. Ну черт подери, надо было видеть, как дюжина из них сорвалась с места и побежали в комнату Великого Могола докладывать обо мне! Вскоре они примчались обратно и объявили, что я могу проследовать в дом. Их Величеству очень приятно, что иностранец удостаивает его своим посещением. И я двинулся сквозь стражу. Едва я прошел шагов шесть, как Великий Могол закричал сверху из своей комнаты, чтобы стража отдала мне честь. Сто тысяч чертей! Услышав это, телохранители вскинули ружья на караул, взяли свои шляпы под мышку и уставились на меня с величайшим изумлением. Я

прошел мимо стражи так изящно, что произвел, черт возьми, огромное впечатление на Великого Могола. Когда я подошел к большой мраморной лестнице, по которой должен был подняться, Великий Могол, черт меня побери, поспешил ко мне навстречу, спустившись до половины лестницы и, встретив меня, повел под руку вверх. Ну будь я проклят, какой великолепный зал открылся моим глазам, все сверкало и блестело в нем, черт возьми, золотом и драгоценными камнями! В этом зале он приветствовал меня, выразил радость по поводу моего крепкого здоровья и сказал, что за все долгое время он не имел счастья принимать у себя немца и осведомился затем о моем звании и происхождении. Тогда я кратко и очень искусно рассказал ему о своем рождении, о случае с крысой и о том, что я один из самых храбрых молодых людей на свете, много уже повидавший и испытанный. Ну будь я проклят, с каким вниманием слушал все это Великий Могол! После рассказа он сразу же повел меня в превосходно разукрашенную комнату и объявил, что она к моим услугам, я могу у него жить, сколько пожелаю, это будет очень приятно ему и его супруге. Он сейчас же позвал пажей и лакеев, которые должны были мне прислуживать. Тьфу, чертовщина! Какие дурацкие поклоны начали отвешивать мне эти парни, когда появились. Сначала они гнули передо мной шею до земли, затем поворачивались ко мне спиной и шаркали одновременно обеими ногами далеко позади себя. Великий Могол приказал им, чтобы они хорошо мне прислуживали, а коли до него дойдет хоть малейшая жалоба, то пажей и лакеев переведут на кухню. Затем он простился со мной и вновь пошел в свою комнату. Черт возьми, как слав-

но начали прислуживать мне эти малые, едва он удался; они, правда, величали меня только «барин», но исполняли все, что только могли прочесть в моих глазах. Стоило мне сплунуть, они, черт возьми, все разом пускались наперегонки растереть плевков ногой, ибо сделать это первым каждый считал для себя большой честью. Не прошло и полчаса, как Великий Могол покинул меня, а уж он возвратился в мою комнату со своей супругой, своими кавалерами и дамами. Тут его супруга, а также кавалеры и дамы, приветствовали меня и глядели при этом на меня с огромным удивлением. По просьбе Великого Могола мне пришлось еще раз рассказать о случае с крысой, ибо его супруге очень хотелось услышать эту самую историю. Ай да проклятье! Как она смеялась над ней, а кавалеры и дамы, уставившись на меня с великим изумлением, перешептывались между собой о том, что я, должно быть, какая-то значительная персона в Германии, если могу рассказать о таких вещах. И так как настало время ужина, то Великий Могол велел трубить к столу. Сто тысяч чертей! Что за грохот и треск раздался из труб и барабанов! Двести трубачей, девяносто девять барабанщиков стояли во дворе замка на огромном камне и трубили в честь меня великолепно! После того как замолкли трубы, я взял под руку Великую Моголиху и повел ее к столу: черт меня побери, до чего же элегантно я выступал рядом с ней! По приходе в обеденный зал Великий Могол пригласил меня сесть и занять почетное место за столом, и я это сделал бы не раздумывая, если бы меня не разбирала охота сесть рядом с его супругой, потому что это была удивительно красивая дамочка. Итак, сначала сел Великий Могол, возле него — я, а

слева от меня — его милая женушка, я сидел, следовательно, посередине между ними. За столом беседовали о разных вещах. Великая Моголиха спросила меня, варят ли в Германии хорошее пиво и какое пиво там считается самым лучшим? На это я ответствовал весьма учтиво, что как раз в Германии и варят исключительно хорошее пиво, и особенно в моей родной местности; там варят густое пиво, называемое так по причине большого количества в нем солода, так что оно липнет между пальцами и пахнет сладко, чисто сахар; если кто-нибудь выпьет его хотя бы кружку, он сразу же сумеет произносить проповеди. Как удивились они, ей-ей, тому, что в Германии имеется такое хорошее пиво и притом такой силы. В то время, как мы болтали за столом о том и о сем и я как раз намеревался рассказать историю о своем духовом ружье, в обеденный зал вошла личная певица Великого Могола с индийской лирой, висевшей у нее на боку. Как великолепно, проклятие, пела эта бабенка и как искусно аккомпанировала себе на лире; ничего, черт возьми, более прекрасного я не слышал в жизни! Нет слов описать, какой превосходный голос был у ней. Она была в состоянии, черт ее дери, взять верхнее «до» на девятнадцатой дополнительной линейке и заливалась трелью из квинты в октаву на одном дыхании двести тактов подряд — и ей хоть бы что! Она спела за столом арию о пурпурных очах и черных ланитах так, что, черт возьми, одно удовольствие было слушать! После ужина я вновь взял Великую Моголиху под руку и направился в свою комнату, где она, а также Великий Могол, кавалеры и дамы попрощались со мной, пожелав доброй ночи, за что я учтиво их поблагодарил и тоже пожелал им хорошего отдыха

и приятных сповидений. Затем все они покинули мою комнату и также направились спать. Когда они удалились, в мою покои вошли четыре лакея и три пажа и осведомились, не угодно ли будет барину, чтобы его раздели. Едва я только им ответил, что, конечно, меня немного клонит ко сну и я не смогу долго бодрствовать — проклятье, надо было только видеть, как засуетились эти парни! Один побежал и притащил мне пару затканых золотом домашних туфель, другой — прекрасный вышитый золотом ночной колпак, третий — бесподобно красивый халат, четвертый стягивал с меня башмаки, пятый — чулки, шестой принес ночной горшок из чистого золота, а седьмой отпер мне спальню. Черт меня поберет, в какую великолепную кровать предстояло мне лечь, и она была, околесть мне, такой белоснежной и такой мягкой, что нет и слов описать! И я проспал всю ночь, ни разочка не проснувшись. Приятный сон видел я в ту ночь. Мне приснилось, что хочу я пойти в нужник освободиться от пива, но никак не могу найти туда дорогу, потому что прошлым вечером немного перехватил за столом и, так как у меня все смешалось в голове, мне почудилось, будто один из лакеев принес большой серебряный сосуд и проговорил: «Вот, барин, то, что Вам надобно». Я схватил сосуд, предполагая, что он, черт возьми, поможет в нужде, и он, действительно, помог мне. Но когда я проснулся утром... ну, и проклятье,— что я натворил! — я чуть не плавал в своей кровати, настолько мокро было подо мной. И еще хорошо, что это случилось не по всем правилам, иначе я и не представляю, каким образом можно было бы скрыть эту оплошность, а так — я продолжал, как ни в чем ни бывало, долго лежать в постели и так искусно высушил все

под собой, что никто и не заметил, что я наделал. Затем я поднялся и распорядился подать мне вновь одежду. Когда я закончил туалет, вошел вестник от Великого Могола, пожелал мне доброго утра и при этом прибавил, что если мне приснилось что-либо приятное, Великий Могол будет рад это слышать и просит меня зайти в свой личный кабинет. Он хотел бы со мной кое о чем посоветоваться. Я не заставил долго ждать ответа и сразу же сказал, что спал, действительно, хорошо, но что касается снов, то они были настолько тяжелые, что меня даже пот прошиб от страха, а насчет приглашения в кабинет, так я сейчас приду. Сообщив это все камер-пажу, я направился затем к Великому Моголу узнать, в чем состоит его просьба. После того как я вошел к нему и весьма учтиво его поприветствовал, Великий Могол отворил большой книжный шкаф и извлек оттуда огромную книгу в переплете из свиной кожи, показал ее мне и сказал, что записывает сюда свои ежедневные доходы, а по истечении года, когда он подсчитывает итог, сумма никогда не сходится и всякий раз недостает третьей части поступлений. Он осведомился, умею ли я считать, на что я ему опять-таки ответил, что поскольку я парень не промах и хорошо изучил «Арифметику» Адама Ризена³, то пусть он мне доверит этот grosbuch, а я уж разберусь, чтобы сумма получилась. Итак, он отдал мне свою приходную книгу и оставил меня в одиночестве. Проклятье, сколько числилось в книге поборов и налогов! Я сел, вооружился пером и чернилами и начал подсчитывать десятки, сотни и тысячи и, когда убедился, что Великий Могол ошибался в таблице умножения, так как знал ее нетвердо, то не удивился, почему сумма оказывалась у него на треть

меньше всех ежедневных приходов. Ибо вместо того, чтобы считать «сто на десять — будет тысяча», он считал «тысяча на десять — сто». А там, где следовало производить вычитание, например, «Один от ста — девяносто девять», он вычитал следующим образом: «Единицу от ста — отнять нельзя, единицу отнять от десяти, будет девять, а девять отнять от девяти — будет ноль». Черт возьми, в таком случае невозможно, конечно, чтобы счет был верен. Заметив ошибки, я сразу понял, где собака зарыта. Я принялся за дело, и не прошло двух часов, как я все привел к правильному итогу и притом у меня он даже получился на половину больше того, чем вся сумма его ежедневных приходных записей. Подведя весь счет так искусно в соответствии с «Арифметикой» Адама Ризена, я попросил Великого Могола вновь зайти ко мне и указал ему, где он ошибался в таблице умножения и каким образом я, так ловко и точно сосчитав, получил еще даже излишек в половину суммы. Сто тысяч чертей! Когда я заговорил об излишке, он вскочил от радости и, хлопывая меня по плечу, предложил, если я только пожелаю, остаться у него, он сделает меня своим тайным рейхсканцлером. На это я ему ответил, что поскольку во мне чувствуется что-то необыкновенное и я один из тех славных молодцов на свете, посвятивших себя исключительно знакомству с новыми странами и городами, то благодарю его за предложение. Увидев, что у меня нет охоты занять эту должность, он в последние две недели моего пребывания у него окружил меня такими почестями, что я, черт возьми, в жизни их не забуду. Ведь этот Великий Могол ужасно богатый властелин, его величают там только «императором» и у него сокровищ столько, сколько дней в году, и я их

все перевидал, каждый день он мне показывал какое-нибудь одно из них. Он обладает также превосходными книгами и является их большим любителем, и мне пришлось торжественно пообещать, что в благодарность за деньги и добрые слова я из Германии также вышлю книгу для его библиотеки. Заметив, что я готовлюсь в путь, он пожаловал мне свой портрет на золотой цепи, а его супруга подарила мне тысячу золотых полноценных дукатов зараз, на которых было вычеканено изображение Великого Могола. Цепь из лучшего индийского золота я повесил себе на шею и, весьма учтиво попрощавшись с ним, его супругой, кавалерами и дамами, отправился на корабле в Англию.



После того, как я простился с Великим Моголом, и он со всей свитой проводил меня пешком до конца городской стены, я направился по тому же самому Троицыну лугу к месту на побережье, где высадился 14 дней назад и сел опять на большой грузовой корабль, отправлявшийся в Англию, и отплыл с ним. На судне я весьма красноречиво поведал капитану, как превосходно принял меня Великий Могол и как он пожаловал мне на прощанье свой портрет с цепью. Я полагал, что капитан при этом от удивления вылупит глаза на такого молодца, как я. Однако, черт возьми, — несколько, этот мужлан даже не снял передо мной шляпу, а, напротив, заметил, что некоторым людям везет больше, чем они того заслуживают. О проклятье! Какая взяла меня досада от пустословия этого лежебоки, и я едва удержался, чтобы не отвесить ему

пару оплеух. Но, в конце концов, поразмыслил я, ведь это глупый человек, что с ним поделаешь, он не знает ни тебя, ни твоего происхождения, и поэтому я оставил дело без внимания. Затем я рассказал моим спутникам по судну о моем необычайном рождении, а также о случае с крысой и о моем духовом ружье. После трех дней и пяти ночей плавания от индийского Троицына луга мы вошли в огромное Средиземное море. Ну будь я проклят! Каких только морских чудесных тварей здесь не перевидаешь, и все они беспрестанно тысячами шныряли вокруг нашего судна! Особенную радость доставил мне тогда маленький тюлень, которого я старался приманить кусочком хлеба совсем близко к судну, на что он, наконец, и пошел с охотой и пытался играть со мной. И так как он выглядел очень милым с виду, я перегнулся через борт и хотел выловить его из моря. Но когда я схватил этого стервеца, он прокусил мне все пять пальцев и уплыл в глубину. Ну и дьявольщина, кровь из пальцев сочилась, вероятно, дней восемь, и укус причинял мне отчаянную боль. Наконец, капитан принес мне склянку с оливковым маслом и посоветовал мне смазать им пальцы, прибавив, что оливковое масло отлично помогает при укусах. Я смазал пальцы, и не прошло двух часов, как раны и не бывало! Когда мы уже почти проехали Средиземное море, то вдали показалось ужасно много сирен, и бабенки эти пели, черт возьми, восхитительно! Капитан, заметив их, приказал нам плотно заткнуть уши, ибо если они приблизятся, то так очаруют нас своим восхитительным пением, что мы не сможем сдвинуться с места. Тьфу, проклятье! Узнав это, я основательно заткнул уши и велел капитану дать полный ход вперед. Через три



дня мы вошли в Балтийское море иплыли здесь, на-верно, несколько недель, пока не выбрались из него. Какие щуки водятся в этом море,— этого, черт возьми, и не передать! У матросов на корабле был рыба-чий сачок — каких щук, дьявольщина, наловили эти дарни! Языки у рыб были, черт возьми, как у боль-ших телят. и на каждом щучьем языке было свыше шести кружечек жира. Несколько месяцев спустя, про-плыв по различным рекам, мы счастливо прибыли в Англию, где я высадился в Лондоне и, рассчитавшись с капитаном за проезд, пошел в город и снял квартиру у одного горшечника, выделявавшего безделушки и живущего тут же у ворот. Малый этот, наконец-то, оказался весьма вежливым, он меня встретил, спросил, что мне угодно, откуда я прибыл и кто я. Я расска-

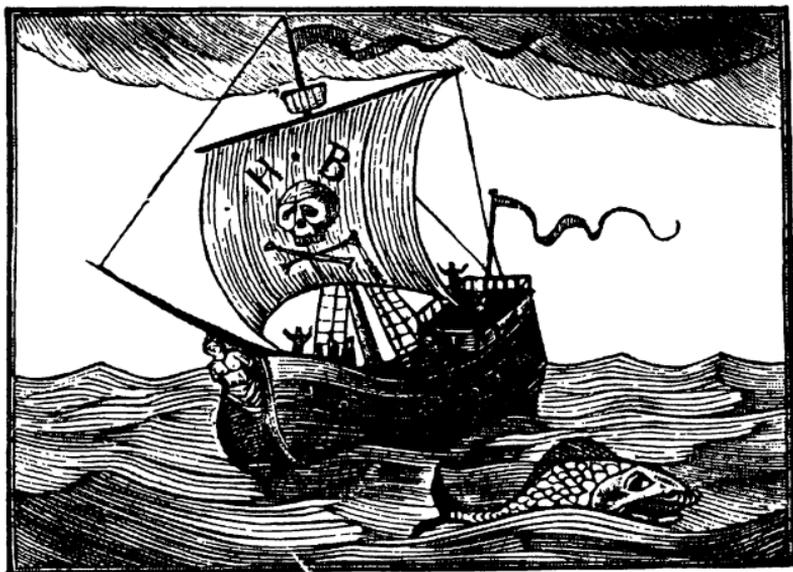
зал ему сразу же весьма искусно о моем рождении и крысе и о том, какой я молодец и что хочу стать у него на квартире, потому как намерен прожить у него инкогнито несколько недель. Малый, известный в городе горшечник, отнесся к этому весьма благожелательно и сразу же заметил по моему взгляду, что человек я, должно быть, значительный, но все же проявил, собака, некоторую непочтительность, ибо в разговоре со мной не всегда снимал шляпу и ужасно сердил меня тем, что не оказывал мне должного почтения. Но, как я полагал, это даже было и к лучшему, потому что я не собирался выдавать себя в Лондоне за знатную персону, а намерен был вести себя как простой кавалер. Но вдруг, черт возьми, в Лондон прибыл благородный лорд, господин Тофель со своей милой Трудой, тот, у которого я был на свадьбе в Амстердаме. Они пришли к горшечнику в дом, поздравили меня с приездом. И как только, дьявол, они меня учуяли, до чего же это удивительно! Они мне все потом рассказали, и про то, что они видели, как я сошел на берег и как ловко я завернул в дом горшечника, ибо дворец Тофеля, благородного лорда, находился поблизости на той же улице. После этого он предложил мне переселиться к нему, но так как я уже устроился у горшечника, который также не желал со мной расстаться, мне не очень хотелось менять квартиру; ведь, если бы я начал перетаскивать свои вещи туда и сюда, это только привлекло бы внимание людей. Сразу в тот же вечер я был приглашен господином Тофелем, благородным лордом, в гости; там находилось много прочих лиц высокого звания и благородных дочерей лордов, которые все разом в меня влюбились и просили моей руки, ибо я показал им



портрет Великого Могола с цепью и рассказал им о том, как он мне его пожаловал, какой превосходный прием он мне оказал, ибо я так искусно и точно подсчитал итог его доходов, что ему привалил даже излишек в половину ежегодной суммы. Я сообщил им также, что он хотел меня сделать своим тайным рейхсканцлером, но так как у меня еще не было охоты оставаться на одном месте, то я поблагодарил его за любезное предложение. Черт меня побери! Как глядели на меня за столом все девицы, благородные дочери лордов, и все разом начали пить за мое здоровье. Одна провозгласила: «Да здравствует тайный рейхсканцлер богатого Могола Индии!», другая — «Да здравствует благородный иностранец, пожалованный портретом Великого Могола!», третья — «Да никогда не сотрется

память о вельможе, в глазах которого светится что-то необыкновенное!». Я, конечно, понимал, что все это относится ко мне, и всякий раз отвечал даме, пившей за мое здоровье, весьма любезной миной, что, черт возьми, мне очень шло. После того, как история о Великом Моголе исчерпалась, я начал немного болтать о своем необычайном рождении и крысе. Ну, и проклятье, как тут развесили уши и разинули рты благородные лорды, услышав про такие дела! На следующий день возлюбленная супруга господина Тофеля устроила ради меня модный в ту пору променаж и, чтобы угодить мне, одновременно со мной разъезжало, наверно, свыше двухсот карет с дворянами и дочерьми самых знатных лондонских лордов; мне пришлось сесть в экипаж к двум тетушкам господина Тофеля. И передать не могу, что эти девицы в пути творили со мной, они зацеловали меня так, что чуть не откусили мне губы. Я сидел посредине между ними, это выглядело весьма пристойно, вывесил из окна подаренный мне портрет, а рядом с каретой бежала, наверно, сотня мальчишек и глядела с великим удивлением на изображение Великого Могола, и меня очень радовала эта толпа ребят. Когда мы отъехали от Лондона примерно на две мили и прибыли на место, где должен был происходить променаж, ну, и проклятье, как превосходно они обращались со мной и какие почести оказали, этого я, черт возьми, и передать не смогу! На следующее утро барышни-тетушки господина Тофеля подъехали в своей карете к дому горшечника, где я жил, и попросили меня, не буду ли я столь любезен немного проехаться с ними, они желали бы показать мне кое-что из древностей города Лондона, которые я, возможно, еще не видел. Не долго раздумыв-

вая, я сел в их экипаж и опять-таки посредине между ними, что выглядело весьма пристойно. Когда карета барышень-тетушек господина Тофеля завернула за угол, мы оказались у большой часовни и, остановившись, вошли в нее втроем. Здесь лежало, наверно, двести связок железных кос, на которых прилипла кровь толщиной с палец. Когда я спросил барышень-тетушек, почему здесь находятся косы и что это за кровь на них, мне ответили, что они хранятся как редкость, их показывают всем знатным иностранцам, ими были вооружены солдаты герцога Монмаутского¹ (или как там звался этот малый?), ими они превосходно косили головы. Затем мы вновь весьма пристойно сели все втроем в карету и покатали в другое место, где они показали мне камень, на котором сидел праотец наш Иаков, когда ему приснилась небесная лестница². Отсюда мы поехали еще в одно место, где висел огромный топор, которым отрубили голову даже одной знатной персоне³. Мне назвали ее имя, но я, черт возьми, никак не могу его вспомнить. Осмотрев всякую всячину, мы направились опять к дому господина Тофеля, у которого я вновь откушал. Должен признаться, что в течение моего трехлетнего пребывания в Лондоне мне оказывали большие почести и особенно благородный лорд господин Тофель и его барышни-тетушки. Когда я прощался с ними, намереваясь отправиться в плавание по Испанскому морю, эти девицы проливали, черт возьми, горчайшие слезы оттого, что я уезжаю, умоляя меня, наверно, сотню раз остаться у них, это-де мне не будет стоить и гроша. Конечно, поступи я так, я бы по-прежнему остался благородным малым, но я хотел посредством своих путешествий подниматься все выше и легко бы достиг этого, если бы не потерпел несчастье в Испанском море⁴. О том, что со мной случилось, вы услышите в следующей главе.



Если я верно припомню, это было в первых или в последних числах апреля, когда я в Лондоне окончательно распростился с господином Тоффелем, знатным лондонским лордом, а также с его госпожой Трудой, его барышнями-тетушками и моим бывшим хозяином — горшечником, сел на большой корабль, прибывший в тот же день из Португалии и тяжело нагруженный копчеными щучьими языками. На нем я намеревался посетить Испанию и отведать там прекрасного испанского винограда. Мы счастливо отбыли из Лондона при хорошей погоде, в Испанском море ветер весьма благоприятствовал нам и небо так прояснилось, что на нем, черт меня побери, не было ни одной темной тучки. Видя, что ветер попутный, капитан предложил всем, кто был на корабле, запеть

веселую песню и сам к ней присоединился. В то время как мы безмятежно веселились, я заметил, что издали к нам приближается судно, на которое я указал капитану, и спросил, что бы это мог быть за корабль. Завидев его, капитан сразу же сказал нам, что судно это идет под иностранным флагом и ему сдается, что это пратский или каперский корабль¹. Проклятье! Как перепугались эти парни, мои спутники! Я же побежал на нижнюю палубу взглянуть, готовы ли орудия к бою. Подув в их стволы спереди, я хотел узнать, все ли они заряжены, но ни одно из них, черт возьми, не было готово. Что тут было делать? Я крикнул своим спутникам: «Allons, * господа, враг приближается! Приготовьте ваши шпаги». Ну и дьявольщина, парни стояли, дрожа и трясаясь от страха, когда я им толковал про бой и шпаги. Прошло немного времени, и каперский корабль, словно молния, появился перед нами, а на нем находился знаменитый морской разбойник Ганс Барт² с ужасающим числом пиратов. Он спросил нас сразу — сдаемся ли мы. Но я ему тотчас весьма достойно ответил: «Я, черт возьми, не сдаюсь!» Ну и проклятье, как тут выхватил шпагу этот малый со всеми своими пиратами! Но и я не мешкал со своей кривой саблей и бросился на разбойников. Когда я ударил по этим парням — стоило взглянуть, как нужно хорошо рубить и биться! Гансу Барту, черт меня побери, я снес напрочь добрую половину его длинного носа и еще по сей день можно заметить, что нос у него тупой, а других пиратов, наверно человек пятнадцать, я сбил ударами с ног, не считая тех, кого зарубил до смерти. Но что можно было поделывать? Если

* Давайте (*фр.*).

б на меня одного не приходилось их такое огромное количество! Помогли мне малость тогдашние мои спутники, мы бы обязательно одержали победу! Но эти лентяи стояли неподвижно, заложив руки в карманы, позволяли, черт возьми, рубить себя, как репу или капусту, и не шевельнулись. Я, пропади все пропадом, страшно был зол на то, что ни один из этих негодяев не желал даже руку приложить, — ведь давно известно: «свора собак — зайцу смерть», а у Ганса Барта была ужасно большая орава помощников. Будь их хотя бы двадцать, тридцать, я бы мигом с ними разделался, но их на меня набросилась, наверно, сотня, и тем не менее они вынуждены были признаться, что в моих глазах было что-то необыкновенное, когда я так стойко выдерживал их натиск и не получил ни одной раны, ни одного удара. Когда я, в конце концов, устал от боя и понял, что победы все равно не добьешься, мне пришлось, черт возьми, просить пARDону. Надо было видеть, как эти парни начали грабить, перебравшись на наше судно! Они, черт возьми, забрали у нас все подчистую. Я начал им рассказывать о своем рождении и о случае с крысой, но они, черт меня побери, не хотели этому даже поверить, а раздели нас до рубашки, забрали все, что мы имели, и повезли нас, пленных, в Сен-Мало³, где каждого посадили в одиночную отвратительную камеру. О, проклятье, сколько раз я вспомнил, кем я был и кем теперь стал в этой ужасной дыре! Портрет Великого Могола вместе с цепочкой исчез, тысяча дукатов, пожалованных его любимой супругой, исчезли, все прочее мое состояние вместе с полноценными дукатами, выплаченными мне амстердамским банком, исчезло; мой прекрасный костюм, отделанный золотом и сереб-

ром, в котором дворянин фон Шельмуфский поражал чуть ли не весь мир своим изяществом, тоже исчез. С моим необычайным рождением дело было дрянное, никто не хотел верить, что история с крысой действительно произошла, и, как самый жалкий трус на свете, я, невиновный, должен был томиться полгода в этой гнусной камере. Ну и проклятье, как я бедствовал в этой чертовой яме: вши были величиной почти что с крысу, которая изгрызла шелковое платье госпожи моей матушки. Они, черт возьми, не давали мне покоя ни днем, ни ночью, и, хотя на дню я успевал их раздавить свыше двух тысяч, ночью появлялись другие, целых десять полков, а порой они так густо усеивали мою рубаху, что, бывало, на ней не увидишь ни одного белого пятнышка. Я часто вспоминал свое прежнее положение и тетюшек лондонского лорда господина Гофеля, девиц, проливавших слезы, потому что я не хотел с ними остаться. Да, но кто может знать все заранее, а я мог представить себе что угодно, кроме того, что со мной случилось. Тюремщик в Сен-Мало кормил меня в темнице тоже очень скверно, он передавал мне через свою дочь, по имени Клаудита, всего только большой горшок затирухи из отрубей, ее должно было хватать на три дня, прежде чем я получал новую порцию. Иногда они, кажется, и вовсе обо мне забывали, приносили мне кое-что поесть только на шестой день, и не раз я вынужден был голодать по три дня. Незадолго до того как тюремщик выпустил меня на свободу за выкуп в сотню талеров, явилось ко мне в камеру привидение⁴: о, проклятье, как я начал орать, завидев призрак! Но он обратился ко мне крайне учтиво со следующими словами: «Прелестный юноша, ты скоро вновь обретешь свободу;

потерпи еще самую чуточку!» Услышав это, я, черт возьми, уже и понять не мог, в кого я превратился — в мальчишку или в девчонку; отчасти я испугался, отчасти обрадовался, потому что призрак болтал о прелестном юноше и свободе. Я набрался храбрости и спросил призрак, кто он такой. И он вновь мне учтиво ответил, что он — дух моей бывшей возлюбленной Шармант, которой суждено было утонуть там, у Борнхольма, вместе с прочими шестью тысячами душ. И так как все совпадало тютелька в тютельку, я перестал уже страшиться призрака и, напротив, пожелал разузнать, куда же делась тогда Шармант, утонув, и где она покоится. При этом вопросе призрак, черт меня побери, тотчас же исчез. Вслед за тем не прошло и получаса, как появился перед камерой тюремщик и сообщил мне, что если я достану сотню талеров, то он, согласно приказу, освободит меня. Я ответил, что, будучи благородным молодым человеком, я прежде не стал бы считаться с такой суммой, но теперь он и сам видит, что я самый жалкий нищий. Тюремщик спросил далее, из какой страны я родом, и сказал, что если я могу надеяться на помощь отсюда, то мне следовало бы спешно написать о своем положении родным. Я сообщил, что у меня есть мать и что я являюсь ее единственным любимым сыном, а она имеет хорошее состояние и не поскупится на такую сумму, когда узнает, что сыну ее столь тяжело приходится на чужбине. Услыхав это, тюремщик сказал, что если я попрошу у своей матери эту сумму, то меня выпустят из тюрьмы и я буду находиться под арестом в его доме до тех пор, пока не прибудет корабль с деньгами. Я согласился, и он тотчас же произнес: «Отверзьтесь узы, падите цепи, дайте узнику

волю!» Потом он держал меня в своем доме, пока не пришел корабль с сотней талеров. Получив выкуп, он пожаловал мне на дорогу старые матросские штаны, старую матросскую шапку, пару рваных чулок, а также башмаки и ветхую пиратскую куртку и с тем отпустил меня вновь странствовать.



Черт возьми, я тогда и не знал, куда мне отсюда податься: без гроша в кармане, брел я, как самый жалкий попрошайка, никто меня больше не считал за порядочного человека, и не видел я способа выбраться из Сен-Мало. Наконец, я пошел туда, откуда отправлялись корабли, рассказал одному капитану о своей беде, о том, что со мной случилось, и попросил его, если он будет отъезжать, взять меня с собой — я же охотно пособил бы ему на судне. Капитан согласился; это был английский шкипер, набравший во Франции разных прекрасных товаров. Он сжалился, в конце копцов, надо мной и взял меня; я был обязан, когда начинался шторм и волны заливали судно, все время откачивать воду, чтобы драгоценный груз не подмок;

за это я и получал еду и питье. Когда мы вновь проезжали мимо Лондона, я заявил шкиперу, что мне стало невозможно качать воду, и попросил его высадить меня здесь, потому что хотел бы направиться в город. Капитан не противился, наоборот, причалил к берегу, позволил мне идти своей дорогой и отплыл. Я присел на берегу у воды, снял свои башмаки, связал их вместе, повесил через плечо и направился в своих равных чулках, почти босиком, к лондонским воротам. Добравшись до них, я остановился и долго размышлял, где мне стать на квартиру, так как у меня не было ни гроша. Сначала я намеревался вновь вернуться к горшечнику, но меня остановила мысль о том, что подумает этот человек, когда та весьма представительная персона, что была здесь с полгода назад, предстанет перед ним в виде жалкого голодранца? Затем я хотел направиться к господину Тофелю, знатному лорду, но, подумал я, если его девицы-тетушки узнают, в каком жалком виде вернулся я из Испании, то они не только скажут, что мне поделом, а при этом еще и порядком высмеют за то, что я тогда не остался у них. Наконец, я принял решение и отправился в ночлежку для нищих в пригороде, где еще встретил тех нищих, которым полгода назад немало помог своими подаваниями, и некоторые из них признавались, что мое лицо им знакомо и где-то они его видели, хотя уже и не могли припомнить где. Маленький бродяжка, между прочим, заявил, что я очень похож на знатного господина, который полгода назад все время разъезжал в карете с дамами по Лондону, выставив из окна золотую вещицу на цепи, а толпа мальчишек бежала рядом с каретой и разглядывала это украшение. Но я не подал и виду, что это касалось

меня, и если бы я им тут же в этом признался, то они бы, черт возьми, мне даже не поверили.

На следующий день, так как у меня не было ни гроша, я пошел в город Лондон и начал просить милостыню у людей, не знавших меня прежде в качестве знатной особы, а мест, где раньше часто бывал в гостях, я, черт возьми, избегал, так как меня легко бы могли узнать; проходя мимо дома господина Тофеля, я всякий раз надвигал шапку на глаза, чтобы никто меня не приметил. В Лондоне мне повстречался один дальний земляк, молодец, уже показавший себя храбрецом на войне; я рассказал ему о своем несчастье, он мне пожаловал талер и обещал бесплатно взять с собой на родину. Но я забыл место, где должен был с ним встретиться, и с тех пор, как он мне подарил талер, я его больше не видел. К моему великому счастью, спустя два дня после этого три грузовых фургона отправлялись из Лондона в Гамбург, и я упросил возниц, чтобы они меня взяли с собой, мое пропитание будет стоить им немного. Возницы оказались отменно добрыми людьми и заявили, что если я ночью буду охранять их фургоны, то они будут кормить меня бесплатно до самого Гамбурга. Будь я проклят! Вряд ли кто-нибудь в эту минуту был больше рад, чем я, и я ответил, что охотно, от всего сердца, буду это исполнять. Итак, они взяли меня с собой, я взобрался спереди на козлы, и мы тронулись. По вечерам, останавливаясь на постоя, они давали мне всякий раз голову или хвост селедки и большой ломоть хлеба. Все это я поедал, а потом, иногда, угостив меня вином, они приказывали мне залезать под фургон и сторожить. Это продолжалось изо дня в день, пока мы не достигли последнего трактира по

дороге в Гамбург, где я простился с возницами. Они, правда, спросили меня, не желаю ли я следовать с ними в город, но я поблагодарил их; а вообще-то я охотно поехал бы с ними туда, если б не опасался, что кто-нибудь там еще узнает меня, сообщит городской страже, что я такой-то и такой-то, заколовший несколько лет назад немало народу. Не надеясь на благополучный исход, я пошел от ближайшей к Гамбургу деревни по чистому полю, пока не добрался до другой области, где мог совершенно не опасаться стражи. Итак, побираясь, я шел от деревни к деревне и, наконец, опять оказался в Шельмероде, где после пережитых мной преопасных странствий на суше и на море вновь увидел госпожу свою матушку бодрой и здоровой. С какой радостью эта почтенная женщина встретила меня, об этом я поведаю весьма искусно в будущем, в начале второй части.

На этом первая часть правдивого описания
моих любопытных и преопасных странствований
на море и на суше пришла
к концу.

О П И С А Н И Е
любопытных и преопасных
СТРАНСТВОВАНИЙ
НА ВОДЕ И НА СУШЕ
ШЕЛЬМУФСКОГО.

Вторая часть



Отпечатано в Падуе,
в получасе ходьбы от Рима,
у Петера Мартау

1697

* К неизменно любознательному *
читателю



Я имею достаточно причин и мог бы, черт возьми, со спокойной совестью оставить заброшенной под лавку вторую часть описаний моих любопытных странствований и не выпускать их в свет, но так как первой своей частью я заставил всех разинуть рты от удивления, то это обязало меня спешно разыскать и вторую часть — ибо мне нет охоты держать всегда язык за зубами — и тем самым еще больше убедить неизменно любознательного читателя, что я был одним из храбрейших молодцов на свете, хотя сейчас уже таковым не являюсь. Если вторую часть описания моих любопытных странствований, точно так же как и первую, всякий внимательно и с величайшим изумлением прочтет и всему тому, о чем здесь говорится, поверит, то я обещаю, что в будущем году, если буду

жив, я намерен рассказать кое-что стоящее о тех или иных позабытых моих странствованиях, а также о разных примечательных вещах и издать это под заглавием «Удивительные ежемесячники». Там будут содержаться истории, которые, черт возьми, никому не даются так легко, как мне. А покамест пусть неизменно любознательный читатель остается всегда благо-склонным к тому, кто всю свою жизнь прозывается

неизменно преданным любознательному
читателю, готовым к странствиям
Синьором Шельмуфским.

* Глава первая *



·Если я не ошибаюсь, был как раз день святого Георгия¹, когда я, впервые после моего преопасного странствия, одетый в изорванную пиратскую куртку и притом босиком, вновь завидел почтенный Шельмероде. Не могу и передать, насколько чужим мне показалось все в моем городе: я так его позабыл, словно никогда в жизни и не видел. Три дня и три ночи подряд бегал я по всем улицам, как сумасшедший, и не смог бы отыскать дом госпожи моей матушки, если б даже это стоило мне жизни. Когда же я останавливал людей и спрашивал, не могут ли они указать мне адрес или, по крайней мере, назвать улицу, где проживает госпожа моя матушка, то всякий раз, черт побери, они разевали рты от удивления, тарасили на меня глаза и смеялись. И нельзя было

на них пенять за то, что они вели себя так нелепо и мне не отвечали. А почему? На чужбине я совершенно позабыл свой родной язык и говорил большей частью по-английски и по-голландски, изредка по-немецки², и кто не очень внимательно прислушивался к моей речи, не мог, черт меня побери, разобрать ни слова. Бьюсь об заклад, что, пожалуй, и за восемь суток я не нашел бы дома госпожи моей матушки, если бы в третью ночь, приблизительно между одиннадцатью и двенадцатью часами, мне не повстречались случайно на улице мои тетки, к которым я и обратился и спросил, не могут ли они сказать, где находится дом госпожи моей матушки. Обе женщины взглянули в темноте пристально мне в лицо и поняли все-таки (хоть я и не очень разборчиво говорил), что мне нужно. Наконец одна из них потребовала, чтобы я прежде всего назвал себя и сказал, кто я таков, а уж потом они сами проводят меня к нужному месту. И вот когда я им рассказал, что я такой-то и такой-то и уже целых три дня бегаю по городу и ни один черт не может мне сообщить, где же проживает госпожа моя матушка,— о проклятие! — как эти бабенки бросились обнимать меня прямо на улице, обрадовавшись, что я жив и здоров и счастливо вернулся. Они схватили меня с обеих сторон под руки за пиратскую изорванную куртку и намеревались отправиться со мной к дому госпожи моей матушки. И вот в то время как мы весьма пристойно шли все втроем и по пути я начал им рассказывать о моем плене в Сен-Мало, сзади незаметно подкрались ко мне два парня, возможно принявшие меня за какого-то обыкновенного ученика мастерового — ибо я был столь жалко одет,— и ответили мне каждый по такой оплеухе, что у меня изо

рта и сопатки сразу хлынула струя красного соуса толщиной с руку; а затем вырвали у меня из рук барышень-теток и бросились наутек, насколько я мог заметить в темноте, по проулку. Сто тысяч чертей! Как взбесило меня поведение этих глупых парней, не оказавших мне должного почтения. Их счастье, что в Испанском море мою превосходную кривую саблю грабительски похитил Ганс Барт, а то я и гроша не дал бы за их жизнь. Но, не имея ничего в руках и без шпаги, нечего и намереваться начать схватку в темноте, можно нарваться на неприятности; поэтому, подумал я, лучше проглотить эти оплеухи молча и подожди, пока вернутся твои барышни-тетки, они тебе точно скажут, кто были эти парни, которым уж затем придется дать тебе удовлетворение за нанесенную обиду. Я простоял, наверно, свыше трех часов на том месте, где получил оплеухи, и охпдал мохх барышень-теток. А вернувшись очень веселыми, они рассказали мне, как им было приятно, какие превосходные подарки сделали им обоим парни, давшие мне оплеухи, и как те весьма сожалели, узнав, что подняли руку на их родственника. Услышав от барышень мохх теток, что произошло это нечаянно и что оплеухи, полученные мной, предназначались кому-то другому, я успокоился и подумал: ошибаться свойственно человеку³. Затем барышни мои теткки повели меня опять к дому госпожи моей матушки. Но, добравшись, наконец, до его двери, мы войти не смогли. Наверно, больше четырех часов стучались мы, но никто нам не отвечал.

Увидев, что никто нам не отворяет, мы легли все втроем около двери и спали до тех пор, пока утром дом вновь не отперли, а затем тайком проскользнули

в него, поднялись по лестнице в комнату барышень моих теток, так что никто ни их, ни меня не заметил. Наверху барышни мои тетки разделлись и надели ночные рубашки, дабы никто не догадался, что прошлой ночью они «прогулялись по свежему воздуху». После этого они велели мне тихонько вновь сойти по лестнице, постучать в двери госпожи моей матушки и убедиться, признает ли она меня еще.

Когда я сошел вниз, — о проклятье! — каким чужим и незнакомым показалось мне все в доме госпожи моей матушки. Я искал, наверно, больше двух часов дверь ее комнаты, ибо все в этом доме я почти совершенно перезабыл, кроме маленькой собачки госпожи



моей матушки, которую она всегда клала себе в постель, а впоследствии собачка неожиданно сдохла; ее я узнал по хвосту, ибо у нее был синяк под хвостом. нечаянно причиненный мной; еще школьником, сбивая своим духовым ружьем воробьев, я случайно попал собачке под хвост. Но госпожа моя матушка, когда я ее увидел, показалась мне, черт возьми, совершенно неузнаваемой, я бы вовек не подумал, что это госпожа моя матушка, если бы не признал ее по шелковому платью, некогда изгрызанному большой крысой; на нем спереди и сзади были огромные дыры, и, на свое счастье, она как раз надела это изгрызанное платье, а то иначе, черт меня побери, я бы ее и не узнал.

После того как я в этом убедился, а изгрызанное шелковое платье достаточно свидетельствовало, что передо мной госпожа моя матушка, которую я не видел так много лет, я назвал себя и объявил, что я — ее без вести пропавший сын, много перевидавший и испытавший на своем веку. Ну и проклятье, как вытаращила на меня глаза эта женщина, услышав, будто я ее сын! Сначала она сказала, что это невозможно, ибо господин ее сын, как она прослышала, один из величайших и знатнейших дворян на свете и, вернись он домой, он не был бы столь жалко одет. На это я отвечал госпоже моей матушке весьма учтиво и рассеял ее недоумение, рассказав в двух-трех словах, как я уже был одним из самых благородных дворян на свете и о том, что хорошее платье бесполезно в странствиях и что, наконец, фон Шельмуфский, бывший в Сен-Мало в плену целых полгода, и является ее единственным любимым сыном, родившимся на свет из-за огромной крысы на четыре месяца рань-

ше времени, согласно «Арифметике» Адама Ризена. Ай да проклятье! Услыхав о крысе, госпожа моя матушка бросилась мне на шею, и уж как она меня ласкала и трепала я, черт возьми, и передать не могу! Поласкав меня немало времени, она начала от радости так реветь, что слезы ее потекли по чулкам все ниже и ниже и промочили насквозь ее замшевые туфли. Тут вошли в ночных рубашках барышни мои тетки, пожелали госпоже моей матушке доброго утра, а ко мне отнеслись так, будто никогда в жизни меня не видели. У госпожи моей матушки жил тогда ее маленький племянник, хитрый пострел, и этому стервецу позволялось что угодно. В то время как госпожа моя матушка рассказывала барышням-теткам, что я — это ее сын Шельмуфский, немало повидавший на свете и много переживший на воде и на суше, малыш-племянник, по-видимому, услышал в спальне, что речь идет о Шельмуфском; маленький нахал внезапно вскочил, словно крыса, с постели госпожи моей матушки и просунул голову в дверь комнаты. Завидев меня, малыш, черт возьми, начал смеяться и тотчас же спросил, что же мне опять понадобилось в доме, ведь едва две недели тому назад, как я убрался отсюда. Тьфу, проклятье! Какое зло разобрало меня на мальчугана и на его болтовню о двух неделях. На вопрос госпожи моей матушки, напоминает ли он меня, нахал насмешливо ответил, почему же ему не знать своего непутевого двоюродного братца? Когда же госпожа моя матушка попыталась ему открыть глаза на это и сказала, что он ошибается — на чужбине я много испытал и на воде и на суше, мой двоюродный брат начал вновь: «Госпожа тетушка, неужто вы столь простодушны, что верите подобным басням?

Я слышал от разных людей, что мой двоюродный брат Шельмуфский уехал из родного города не далее как за полмили и все прокурил и пропил с беспутной компанией». О проклятье! Как заскрежетал я зубамп, когда мальчуган попрекнул меня табаком и водкой. После этого барышни мои теткы попросили, чтобы я кое-что поведал им о своем преопасном странствии и о том, что я повидал на белом свете. И представьте, во время рассказа, вызывавшего превеликое удивление барышень моих теток, мальчишка все время перебивал меня и говорил, чтобы я замолчал, что все это хвастовство, ложь да вранье. Наконец меня заело, и не успел он оглянуться, как я отвесил ему такую оплеуху, что он сразу полетел к дверям кубарем. Ну и проклятье! Что тут начала вытворять госпожа моя матушка! Сколько раз я потом с ней ссорился и ругался из-за мальчишки этого, черт его побери, и пером не описать, да и совершенно излишне, дело того не стоит. Если же кто полюбопытствует и пожелает знать подробней об этой перебранке, тому я могу дать хороший совет — обратиться к некоторым честным женщинам по соседству и порасспросить их, уж они, черт возьми, расскажут все точно!

Дабы немного коснуться моего тогдашнего положения по возвращении из плена, я опишу это весьма искусно в нижеследующей главе.



В конце первого дня моего пребывания, когда я уже совсем изнемог от перебранки с госпожой моей матушкой из-за оплеухи двоюродному брату, слуга проводил меня с фонарем по сто одиннадцати ступеням наверх в постель. Едва я растянулся на матраце из свиной щетины, как меня тотчас охватила сладкая дремота, и мой храп можно было слышать за три дома. Мне начал сниться сон и, черт возьми, сон весьма странный, ибо мне казалось, что я нахожусь в море и на меня напала жестокая жажда, и так как я не могу найти никакого хорошего питья, чтобы утолить ее, то мне не осталось ничего иного, как снять свою пиратскую шляпу и зачерпнуть в нее полным-полно морской воды, которая сплошь кишела большими красными червями и зелеными личинками, а в пасти

у них были длинные и острые зубы, а сами они так воняли, как последняя падаль. Воду эту со всеми червями я выпил, и она показалась мне на вкус недурной, ибо черви настолько легко проходили внутрь, что я их даже не замечал; однако один все же застрял бы вскоре у меня в горле. если бы я во сне не сделал глотка, ибо он повис у меня в горле, вцепившись зубами в маленький язычок; но едва я глотнул, как он моментально отправился вниз к прочей компании. Через четверть часа можно было слышать в моем желудке несмолкаемые вопли и мычание. Ну и проклятье! Как кусали друг друга червяки и личинки в моем животе, словно происходила травля зайцев и они истекали кровью, как свиньи! После того как доброе время они повоевали внутри, мне стало ужасно плохо и меня начало рвать. Надо было видеть эту рвоту, черт возьми, меня чистило, черт возьми, и спереди и сзади, целых четыре часа подряд, и во сне — все только в постель, так что я из-за этого проснулся. Я лежал, черт меня побери, по уши в сплошном дерьме, а вокруг в нем ползало, наверно, свыше ста тысяч таких красных морских червей и зеленых личинок с большими зубами, все они вновь сожрали рвоту и затем исчезли, прежде чем я оглянулся, и даже теперь я не знаю, куда они девались. Такая рвота продолжалась у меня каждую ночь целых четыре недели; по-видимому, это произошло от нездорового воздуха, ибо на руках и ногах у меня сразу выступила сильная сыпь. Черт меня побери, все тело мое сплошь походило на березовую кору, и кожа начала свербеть, как при дурной болезни; иногда, надевая пиратскую куртку, я так натирал себе кожу, что порой блестящие красные капли приставали к куртке изнутри, словно клей или

переплетный клейстер. Так я мучился полгода, пока не избавился от хворобы окончательно, и ручаюсь, что не отделался бы от нее вообще, если бы не заказал себе мазь из оливкового масла и толченого кирпича и не смазывал бы ею усердно все суставы. Ах, оливковое масло, оливковое масло! Черт возьми, это великолепное средство от чесотки! После того как я за год немного поправился и попривык к здешнему воздуху, не проходило и дня, чтобы я не бранился непрерывно с госпожой моей матушкой. И уж до чего мне опостылела эта жизнь; меня от нее прямо-таки тошнило! Вся эта ругань происходила обычно из-за моего маленького двоюродного брата, потому что маль-



чишка продолжал дерзить и не хотел верить ни одному сказанному мной слову. Наконец, видя, что мне никак не ужиться с госпожой моей матушкой, я велел ей сшить мне новое платье и заявил, чтобы она отдала мне полностью отцовскую часть наследства, я вновь хочу отправиться на чужбину и поглядеть Италию, может быть, мне там больше повезет, чем в Испанском море. Госпожа моя матушка не хотела препятствовать моему желанию, а, напротив, хотела избавиться от меня, и чем скорей, тем лучше. Она сшила мне красивый новый костюм, жилет которого был отделан великолепным лионским позументом. И так как у нее при себе как раз не было тогда расходных денег, а ей полагалось получить наследство в соседнем городе, то она дала мне ассигновку¹, чтобы мне вынлатили там деньги от ее имени — лишь бы вновь от меня избавиться. Я отправился в путь и в тот же день добрался до города, полагая, что деньги, уже сосчитанные, ожидают меня; но когда я прибыл, то человек, обязанный выплатить долг, не захотел считаться с моей ассигновкой и заявил, что я еще несовершеннолетний, и притом он не уверен, то ли я лицо, на которое выдан документ. О проклятье! Ну и разозлился же я за то, что меня считают несовершеннолетним, тогда как я вот уж сколько лет прожил на чужбине, все перевидал и был одним из храбрейших парней на свете. Я поведал ему про это и рассказал случай с крысой и дырой, куда она, должно быть, удрала. Черт побери! Как после этого должник испугался и почувствовал свою вину, словно побитая собака! Бьюсь об заклад, он охотней готов был бы отдать мне еще половину того, что был должен, чем попрекнуть меня несовершеннолетнем. Ибо только после этого он взгля-

нул мне прямо в лицо и, почувствовав, что в глазах моих сверкает что-то необычное, начал извиняться и заранее жаловаться, что охотно выплатил бы мне наследство, но у него сейчас нет средств, через два года он уж позаботится и выручит меня. Ну что тут было делать, когда я увидел, что у этого доброго человека нет денег? Не желая его разорять, ибо, подай я в суд, он, черт возьми, обязан был бы заплатить мне не пикнув, я поручил дело о наследстве другому лицу, которое я заставил выплатить мне четвертую часть всей этой чепухи и дал ему полномочия истребовать всю сумму от имени госпожи моей матушки. А когда я получил эти денежки,— ай да проклятье!— ну кто был веселей меня?— ведь в моем кармане опять позванивали новые пфенниги! Вернувшись к госпоже моей матушке в Шельмероде, я снова собрался в путь, уложил все свои вещи в большой сундук, попрощался со слезами на глазах с госпожой моей матушкой, а также с барышнями-тетками и был намерен сесть в скорую почтовую карету. В то время как я уже собрался выйти из дверей со своим большим сундуком, мне навстречу попался мой двоюродный братец, с которым я тоже хотел проститься. Но когда я протянул ему руку, стервец начал смеяться и заметил, что мне нет нужды прощаться с ним, путешествие мое не будет столь далеким, и если бы он взял на себя труд выследить меня, то встретил бы меня в крестьянском трактире ближайшей деревушки, где я бы торчал до тех пор, пока не пропустил бы полученное наследство через глотку в виде табака и водки, а затем бы вновь здесь появился. Тьфу, проклятье! Как разозлила меня болтовня мальчишки о ближайшей деревне. Но я не поленился и дал ему мигом та-

Часть вторая, II

кую затрещину, что у него искры из глаз посыпались, а затем вышел молча со своим большим сундуком из дверей дома и направился бегом к почтовой станции. Стоило послушать, как госпожа моя матушка орала мне на улице вдогонку: «Бей, шельма, бей! Убирайся, сломай себе шею и никогда больше не показывайся мне на глаза!» Мой двоюродный братец-наглец преследовал меня до самой почтовой станции, бросая камни, но ни разу в меня не попал. Когда я пришел на станцию, скорая почтовая карета была уже заполнена и почтальон не хотел меня брать, но все же предложил, если я желаю ехать, сесть позади в багажник. Не долго думая, я тотчас же вскочил со своим сундуком и велел почтальону одним махом выезжать из ворот.

* Глава третья *



Как раз в тот самый день, когда накануне ночью у госпожи моей матушки стащили индюшек, я второй раз покинул мой почтенный родной город и начал вновь свое преопасное странствование на воде и на суше. Едва мы отъехали от города на расстояние мушкетного выстрела, как почтальон опрокинул нашу карету, да так, что все четыре колеса разлетелись вдребезги. Пассажиры, взятые им, оказались, черт возьми, все по уши в грязи, ибо мы перевернулись в прескверном болоте. Мне еще очень повезло, что я сидел позади в багажнике, так как, заметив, что карета вот-вот упадет, я соскочил со своим сундуком вниз. Тьфу, проклятье! Останься я сидеть, я бы здорово ткнулся носом в грязь. Трудно было удержаться от смеха, видя, как пассажиры валяются в топи. Почтальон со-

всем растерялся и не знал, каким образом он может двинуться дальше — все четыре колеса были сломаны. Увидев, что помощи ждать неоткуда (а задерживаться мне было нельзя, ибо я хотел как можно скорей осмотреть город Венецию), я собрался, взял свой большой сундук, поблагодарил своих спутников, еще лежавших в грязи, за компанию и направился в Италию на своих двоих. В тот же день я отмахал пешком еще 22 мили и к вечеру, на закате, добрался до одного монастыря, где обитали милосердные братья, добрые ребята, черт возьми; они попотчевали меня поистине княжеской едой, но пива в этом самом монастыре не нашлось. Я осведомился, как же это так, что им нечего выпить, но мне отвечали, что уж таков у них обычай — не варить доброго пива, раз они обеспечены чистой водой. Поэтому я обучил их одной штуковине, а именно, как варить густое пиво, которое будет такое вкусное, что они пальчики оближут и научатся ловко произносить проповеди. Ай да проклятье! Как благодарили меня милосердные братья за то, что я научил их этой штуковине! Еще в тот же вечер они заготовили пробу, а утром рано в бочке уже было превосходнейшее густое пиво, по вкусу — что чистый сахар. Провалиться мне на месте! И присосались же милосердные братья к этой бочке, никак не могли досыта напиться — настолько пришлось им это пиво по вкусу; им приходилось все время подставлять ладони ко рту, так жадно они его лакали, и сами не заметили, как оно уже ударило им в голову. А уж как они были добры ко мне и каким почетом меня окружали — этого я, черт возьми, никогда в жизни не забуду! Они умоляли, чтобы я немного времени пожил с ними, но у меня не было охоты. На прощанье они

дали мне в дорогу кучу съестных припасов, чтобы я не помер с голоду во время своих преопасных странствий; дело в том, что милосердные братья как раз за день до этого (в монастырскую пятницу¹) забилп шесть свиней, и я получил длиннейшую колбасу и громадный кусок сала. Черт меня побери, могу заверить, что подобного сала, как у милосердных братьев, я никогда не видывал на свете. И если в нем не было шести локтей толщины, то не быть мне, черт возьми, славным малым! Попрощавшись с милосердными братьями и порядочно набив свой сундук провпантом, я продолжал свой путь в Венецию. По дороге я нагнал скорую почтовую карету, направляющуюся в Венецию, и, так как у почтальона было немного пассажиров, то он взял меня; однако я не решался устроиться вместе с прочей компаньей, опасаясь, что и этот почтальон, подобно предыдущему, может нас опрокинуть, а ведь никогда не знаешь, чем это кончится; поэтому я со своим большим сундуком сел вновь позади, в багажник, и велел почтальону поспешать в Италию. Несколько дней ехали мы благополучно и, находясь уже примерно на расстоянии ружейного выстрела от Венеции, когда необходимо было проскочить между двумя отвесными скалами, не успели и оглянуться, как почтальон опрокинул карету и она покатила с горы вниз, перевернувшись с нами, наверно, тысячу раз, но никто, черт возьми, даже ни сколечко не пострадал, за исключением двух колес кареты, которые разлетелись вдребезги. Однако сидевших в карете крепко засыпало песком, ибо в окрестностях Венеции все горы сплошь из песка. В мой большой сундук тоже проник слой пыли и песка с локоть толщиной и осел на сала, которым снабдили



меня милосердные братья. Увидев, что почталъон из-за поломки двух колес задержится здесь надолго, я решительно направился в Венецию пешком. Но сколько по пути песку и пыли надуло мне в глаза, это, черт возьми, неопишимо, ибо ветер на этот раз был неслыханно сильный. Тем не менее я должен заметить, что город Венеция выглядит издали, черт побери, весьма мило, он расположен на огромной высокой скале и опоясан превосходным валом.

Добравшись со своим большим сундуком до города Венеции пешим, я остановился в гостинице «Белый козел», где мне предоставили отличные удобства и обслуживание. Вдова-хозяйка приняла меня весьма дружелюбно и тотчас повела меня в чудесную комнату, где находилось свыше двухсот приготовленных постелей; эту комнату она и предложила мне для хранения

моих вещей, а затем попрощалась с учтивым поклоном. Оставшись один в чудесной комнате, я снял с плеча свой сундук, открыл его, вынул оттуда белую рубаху; ведь в рубахе, которую я очень долго носил, нельзя было чувствовать себя в полной безопасности, так как милосердные братья одарили меня несколькими полками приживальщиков. Удалив их с тела и надев белую рубаху, я спрятал свой большой сундук со скарбом под превосходно застланную кровать, чтобы его никто не обнаружил, вышел из комнаты, запер ее и осведомился у хозяйки, что нового слышно в Венеции. Хозяйка ответила, что сейчас (это было время ярмарки) всякую всячину можно увидеть на площади святого Марка². Сто тысяч чертей! Как поспешил я на площадь святого Марка, услышав болтовню хозяйки о ярмарке! Я собрался, быстро вытащил вновь свой большой сундук со скарбом из комнаты, взвалил его на себя, дабы таковой не уплыл от меня по причине ярмарки. Ну и ну! Какие чудесные дома стояли на площади святого Марка, подобных я никогда не видывал ни в Голландии, ни в Англии, ни в Швеции, ни даже в Индии! Они были облицованы, черт меня подери, драгоценнейшим мрамором, и каждый дом — свыше 50 этажей, и перед каждым из них, расположенным вокруг рынка, имелся большой водяной насос по причине того, что вода здесь — вещь очень редкая. Посреди площади святого Марка находилась большая лотерейная будка, и попытать счастья мог любой, кто желал: за каждый билет нужно было заплатить дукат, но среди билетов имелись выигрыши от 60 до 70 тысяч талеров³; правда, были и весьма незначительные, в один батцен⁴, что составляет в Германии 6 пфеннигов.

Присмотревшись, как некоторые люди славно выигрывают, я решил тоже поставить дукат и захотел испытать свое счастье. Ну, будь я проклят, сколько было бумажек в лотерейном горшке, когда я засунул туда руку, бьюсь об заклад, наверно, больше 60 000 миллионов! Запустив обе руки в горшок, я вытянул все бумажки разом. Заметив это, лотерейщик, проклятье, крепко ударил меня по пальцам за то, что я выволок столько билетов; мне сразу пришлось швырнуть их все обратно, а затем он велел за дукат вытянуть лишь один билет, что я и сделал. Вытянув за этот свой дукат из горшка один билет, я его развернул, это был хороший номер — 11, каковой я и показал лотерейщику. Ну, все люди подумали, что я выиграю кое-что стоящее, потому что я подцепил нечетный номер, но когда сверились, что выпало на номер 11,— это оказалась щеточка для бороды в 6 пфеннигов. Тьфу, проклятье! Как тут начали смеяться надо мной и моей щеточкой стоявшие вокруг лотерейной будки люди! Но я ни на кого не обратил внимания, а потянул еще раз билет из горшка, опять с хорошим номером — 098372641509. Ну и ну! Как разинули люди свои рты от удивления, увидев, что я вытащил такой превосходный номер! Лотерейщику сердце его сразу подсказало, что я, должно быть, выиграл что-нибудь стоящее, ибо, только глянув на билет, он начал ужасно потеть и от него пошел такой запах, словно он основательно набальзамировал свои штаны внутри и снаружи.

Когда в лотерейной будке сверили, какой выигрывает пал на мой превосходный номер, то это оказались лошади в 500 талеров и жена лотерейщика, стоимостью в тысячу дукатов. Ну и дьявольщина! Сколько

сбежалось народу, едва стало известно, как повезло в лотерее синьору Шельмуфскому! Мне пришлось тотчас же сесть на выигранную мной лошадь, а всю тысячу дукатов, нанзанную в виде четок и полученную вместо жены лотерейщика, я вынужден был повесить на свой большой сундук и объехать весь город, дабы люди полюбовались на мой выгрыш. Впереди моей лошади обязаны были выступать 99 барабанщиков, 98 флейтистов и трое музыкантов с лютнями и цитрой; две лютни и цитра в сопровождении барабанов и флейты звучали так прелестно, что невозможно было, черт возьми, расслышать ни слова, даже и собственного. А я при этом весьма ловко восседал на лошади, которую, по-видимому, обучили в школе верховой езды, а также танцам, ибо под музыку и она начала танцевать и приплясывала, черт меня побери, неподражаемо. А как взглянула на меня одна венецпанка, когда я достиг площади святого Марка, этого я, черт возьми, и описать не могу; ведь вся моя фигура дышала счастьем, и каждый мог тотчас же сообразить, что вряд ли найдется на всем белом свете другой такой молодец, как я. Во время объезда города не меньше чем 30 вельмож осведомлялись обо мне на улице, нижайше приветствовали меня и любезно просили, не соизволю ли я сообщить им, кто я такой и какого звания, дабы они могли засвидетельствовать мне должное почтение. Таковым вельможам я учтиво отвечивал, что был в Швеции, Голландии и Англии и что немало испытал на свете, а также провел целых 14 дней у Великого Могола в Индии и в его превосходном замке Агре мне были оказаны великие почести, а отсюда они и могут легко догадаться, кто я такой. Затем я двинулся с музыкой дальше, и, когда проез-



жал перед ратушей, неожиданно мне навстречу бросились 26 стражей и, схватив лошадь под узцы, все разом закричали: «Стой!» Когда я вынужден был остановиться, 1400 видных городских советников знатного рода приблизились ко мне, приветствовали меня поклонами и заверили, что они счастливы и почитают за великую честь наслаждаться моим присутствием. После их приветствия и я, сидя верхом на лошади, ответил им весьма учтиво наполовину по-английски, наполовину по-голландски, примешивая порой немецкие слова.

После моей ответной речи все советники попросили меня спешиться и быть их благородным гостем. После

этого я спешился с моим большим сундуком и распорядился отвести мою лошадь на тюремный двор и держать ее там до тех пор, пока я не пообедаю, что и было исполнено. В сопровождении трех председателей я поднялся наверх в ратушу, за мной следовали все члены городского магистрата по 12 человек в ряду. И вот, когда мы поднялись по 11 ступеням в ратушу,— черт побери! — в каком прекрасном зале мы очутились! Пол его был выложен одними полированными плитками из стекла, а вместо панелей стены были отделаны чистым гипсом, похожим на мрамор, что прямо-таки слепило глаза! Посреди зала, неподалеку от лестницы, стоял стол из венецианского стекла, уставленный редчайшими и изысканнейшими яствами. Мне со своим большим сундуком пришлось сесть на самом почетном месте, а подле меня сидели три председателя, провожавшие меня сюда по 11 ступеням наверх. А далее за столом пониже расположились прочие советники, с величайшим удивлением следившие за тем, с каким аппетитом я ел. За ужином беседовали о разных разностях; я, однако, вначале сидел совсем тихо и притворился, словно не могу сосчитать и до трех. Но, нажравшись до отвала, я тоже открыл рот и начал рассказывать, как великолепно одарил меня однажды Великий Могол и как мне пришлось подсчитать итог его доходов, который у меня получился даже с излишком, на половину больше того, чем вся сумма годовых поступлений, и как по причине этого Великий Могол хотел сделать меня своим рейхсканцлером, потому что я так хорошо разбирался в «Арифметике» Адама Ризена! Будь я проклят! Ну как тут наострили уши господа советники Венеции, когда я стал болтать об «Арифметике» Адама Ризена! Они титуловали

меня не иначе, как «Ваше преподобие»⁵, и все разом начали пить за мое здоровье. То один провозглашал: «Да здравствует тот, кто должен был стать в Индии рейхсканцлером Великого Могола, но отказался!»; то другой: «Многая лета тому, кто сумел отыскать излишек доходов Великого Могола на половину больше, что ему причиталось!». Такие и подобные здравицы произносились мне в угоду всеми за стеклянным столом. После окончания тостов за мое здоровье один из председателей, сидевший рядом со мной, обратился ко мне и попросил, чтобы я долее не скрывал своего высокого происхождения, ибо уже по моей беседе он догадался, что я, должно быть, не худого рода, а, напротив, что-то необыкновенное светится в моих глазах. Я призадумался, открыться мне или нет. В конце концов, поразмыслил я, плевать мне на это,— ведь я им расскажу только историю с крысой, чтобы они рты разинули да уши развесили от удивления,— раз они этого сами хотели. И я начал расписывать историю о крысе и дыре, в которую она скрылась. Ох и проклятье! Какое огромное впечатление произвело это на 1400 господ советников, когда я им начал болтать о крысе! Они стали шептаться друг с другом и совещались обо мне потихоньку целых три часа. Но о чем они между собой шептались, этого я совершенно не мог понять. Однако, насколько я мог расслышать из слов своего соседа, господина слева, он предложил одному из председателей, чтобы я занял пост главного инспектора Совета Венеции⁶, если соглашусь, ибо у них нет никого, кто бы подходил для этой должности. Посоветовавшись таким образом втайне между собой, они все разом обратились ко мне: «Мы хотели бы, Ваше преподобие, сделать Вас нашим инспектором

Совета, не изъявите ли Вы Ваше согласие?» На это доброе предложение я тотчас же дал всему собранию советников весьма учтивый ответ: «Многоуважаемые господа и, следовательно, дорогие, сердечные друзья! То, что я являюсь храбрым малым, подобного которому не сыщешь в целом мире, это не подлежит никакому сомнению; и то, что я немало испытал и на воде и на суше, это может подтвердить сам известный морской разбойник Ганс Барт, которому я в Испанском море отхватил своей превосходной кривой саблей добрый кусок его ястребиного носа. Он должен будет признать, что едва ли найдется на всем свете кто-нибудь, равный мне по отменному поведению». Черт побери! Как уставились на меня все 1400 господ советников, услышав о моей кривой сабле и молодецком поведении!

На это один из председателей сказал мне тотчас же, что все собрание уже поняло из моего ответа, что вряд ли я соглашусь занять предложенный пост, ибо душу мою радуют только странствия. Я промолчал, словно в рот воды набрал, отвесил чрезвычайно учтивые поклоны трем председателям и сразу же поднялся из-за стола. Заметив, что я поднялся, они тоже начали все сразу вставать.

Поняв, что я не намерен здесь долго задерживаться, Совет преподнес мне чашу из искусно граненого венецианского стекла, ценой в 20 000 талеров, чтобы я навсегда сохранил ее на память о них и время от времени подымал ее и пил за их здоровье. И я бы это непременно делал, если б только, как вы услышите ниже, совершенно неожиданно не разбил эту чашу.

Попрощавшись со всем Советом Венеции и поблагодарив за столь великую честь, мне оказанную, я спря-

тал подаренную мне прекрасную драгоценную чашу в свой большой сундук, приказал нескольким сторожам вывести с тюремного двора выигранную мной в лотерею лошадь и привести ее наверх в зал. Здесь я вновь сел на нее со своим большим сундуком и во весь карьер столь изящно поскакал вниз по лестнице, что все господа советники необычайно удивились моей езде и были уверены, что я сломаю себе шею на скользкой лестнице,— ведь ее ступени были сделаны из превосходнейшего венецианского стекла; но моя лошадь была к этому привычна; как молния, неслась она вниз по стеклянным ступеням и ни разу даже не поскользнулась. Внизу, перед тюрьмой, по-прежнему дожидались меня мои музыканты и, завидев, как я спускаюсь с лестницы ратуши, сразу же грянули на барабанах сарабанду, флейтисты начали высвистывать «пляску смерти», а оба музыканта заиграли песню: «Давненько не бывал я у тебя»; а тот, что играл на цитре, стал брэнчать позади всех альтенбургский крестьянский танец.

Не могу, черт возьми, и передать, какое благозвучие создавала вся эта музыка, а лошадь моя при этом все время пританцовывала, и мне захотелось еще раз объехать площадь святого Марка именно затем, чтобы привлечь людей к окнам; пусть вдоволь они подивятся на мою великолепную езду, что, кстати, и произошло. Ибо едва я выехал вновь со своим большим сундуком на площадь святого Марка, как, наверно, тысяч тридцать людей высунулись из окон и до одури глазели на меня, на то, как элегантно восседал я на лошади со своим большим сундуком. До чего же мне понравилось, как славно они пялили глаза на мою выpravку, этого я, черт возьми, вовек не забуду! Но как

я при сем и осрамился, об этом, наверное, еще и до сих пор болтают в Венеции уличные мальчишки.

Послушайте же, что со мной произошло. В то время как я чрезвычайно искусно объезжал со своим большим сундуком площадь святого Марка, а все поразевали рты, глядя на меня, я выхватил пистолет из кобуры и выстрелил; но когда я выиграл лошадь, лотерейщик не предупредил меня, что она боится выстрелов и не переносит запаха пороха. Как только я великолепно разрядил пистолет, лошадь рванула, черт подери, и мигом сбросила меня с моим большим сундуком так, что я растянулся на площади и чудесная драгоценная чаша разлетелась на тысячи осколков. Ну и дьявольщина! Как тут все начали смеяться надо мной! Но я быстро вскочил со своим большим сундуком и устремился за лошадью, которую вновь хотел поймать; когда я уже почти настиг ее и хотел схватить эту проклятую стерву за хвост, подлая кляча поскакала быстрее и стала носиться по улицам то вниз, то вверх. Я гонялся за этой стервой по городу Венеции, наверно, целых три часа, но поймать ее не мог. В конце концов, она выскочила за ворота на овсяное поле, засеянное тут же рядом на каменной скале; ну, подумал я, здесь она от меня не уйдет, и побежал в овес, но, черт возьми, все же никак не мог ее ухватить, ибо чем больше я гнался за этой падалью, тем дальше углублялась она в поле и заманила меня своими штучками к самым воротам города Падуи, пока вновь не оказалась в моих руках. Бьюсь об заклад, я не настиг бы ее совсем, если б из ворот Падуи не выехал на телеге с навозом крестьянин; у него была запряжена в телегу кобыла, и возле нее и остановилась выигранная мной лошадь — это был жеребец.

Поймав лошадь, я сразу же вновь взобрался на нее со своим сундуком и мысленно посоветовался с самим собой, куда же мне теперь помчаться — обратно ли в Венецию или в Падую, чтобы познакомиться и с этим городом. То я представлял себе, что будут всю жизнь думать музыканты, — куда же это делся синьор Шельмуфский со своим большим сундуком, почему он не возвращается? То воображал иное: приезжаешь в Венецию, появляешься на площади святого Марка, люди вновь вылупят глаза на Шельмуфского, а мальчишки станут шептать друг другу: «Гляди-ка, опять едет тот благородный господин, которого лошадь сбросила четыре часа назад, так что он растянулся на улице со своим большим сундуком, посмеемся же вдоволь над ним!» Наконец, подумал я, если ты появишься вновь в Венеции и Совет узнает, что ты уже разбил чудесную чашу, — то черта с два он тебе что-нибудь подарит! По причине этого я принял краткое решение и мысленно произнес: «Доброй ночи, Венеция! Синьор Шельмуфский должен посмотреть, что делается и в Падуе», — и въехал на полном скаку в город Падую.

* Глава четвертая *



Падуя, черт меня подери, превосходный город, и хоть не очень большой, но застроенный исключительно прекрасными новыми домами и расположенный в получасе езды от Рима. Он кишит студентами, потому как здесь есть неплохой университет. Иногда тут собирается свыше 30 000 студентов, которые за один год все разом становятся докторами¹; там, черт возьми, каждый легко может стать доктором, если только что-нибудь имеет в кармане да и сумеет постоять за себя. В одном из постоянных дворов этого города, называвшемся «Красный бык»², я и остановился со своей лошадейю и своим большим сундуком; его хозяйкой была славная, статная женщина. Едва я со своим большим сундуком спешился, она бросилась мне навстречу, повисла у меня на шее и начала целовать, не иначе как полагая, что я ее сын. Ибо и она

отправила сына на чужбину, и так как я вдруг, неожиданно, въехал в ее постоянный двор, а она видела меня лишь со спины, то ей и пришла мысль, что это вернулся он, и во весь дух, переваливаясь на ходу, она устремилась ко мне, схватила меня сзади за голову и начала целовать. Но когда я объяснил ей, что я такой-то и такой-то, обшаривший весь свет, она попросила у меня прощения за такую свою смелость.

У упомянутой хозяйки было также двое дочерей, чистенько одетых и манерных, жаль только, что эти девчонки были такими высокомерными и каждому стремились приклеить ярлычок, хотя, черт возьми, сами заслуживали упреков с головы до пят. Ни один человек не мог мирно пройти мимо их дома, чтобы они ему чего-нибудь не пришили, да к тому же они лаялись целыми днями со своей мамашей; больше того, они так ее поносили, что это был стыд да срам, и настолько привыкли к безобразным проклятьям и брани, что я, черт возьми, не раз думал: «Что ж это такое? Бабам этим придется подохнуть на навозе, если они так проклинают собственную мать». Но ведь и мать получала по заслугам,— почему она с детства их лучше не воспитала? У нее в доме был и маленький сын, по сравнению с дочерьми еще не такой испорченный; она наняла для него разных учителей, но у мальчишки не было никакой охоты к учению. Его единственной радостью были голуби и (как и для меня в детстве) духовое ружье; он стрелял из него в базарный день по головам проходивших мимо крестьян, а затем прятался за дверью дома, чтобы никто его не приметил. Мне этот мальчишка пришелся по душе именно из-за духового ружья, ведь и я в юности тоже с ума сходил по этой забаве.

На постоялом дворе проживало также и много студентов, с которыми дочери госпожи хозяйки были на короткой ноге. Каждое утро они прибежали в их комнаты и мучили их до тех пор, пока те не заказывали хороший завтрак. Хотя их мамаша видела и знала точно, что ее дочери посещают комнаты студентов, она, черт возьми, не говорила им ни словечка, а когда узнавала, что студенты уже велели принести себе вина, она находила себе какое-нибудь дело в их комнате и лакобилась там до тех пор, пока вино не было выпито дочиста. Затем она собиралась уходить и, обращаясь к дочерям, говорила, если-де им уже очень здесь надоело, то пусть возвращаются к себе, что они порой и делали. Я не мог терпеть этих баб, они и слова умного вымолвить не могли, а кто со мной желал в ту пору разговаривать, тот, черт возьми, должен был быть бойким на язык. Во-вторых, меня воротило от этих баб, едва они слишком близко подходили ко мне, ибо из их ртов шел ужасно дурной запах. Правда, девицы ничего не могли с этим поделать, ибо, как я мог чують по запаху, они унаследовали этот порок от своей мамашы, потому что от мамашы, черт возьми, несло даже тогда, когда ее и близко не было. Эта хозяйка охотно подцепила бы вновь себе мужа, если б кто-нибудь ее взял, ибо проклятый потаскухин сын Купидон, должно быть, нанес ее сердцу ужасную рану своей стрелой; она при своих шестидесяти годах еще выглядела на морду такой же влюбленной, как и в молодости. Спорю, что она заполучила бы еще одного компаньона по постели (ибо была состоятельной особой), но так как из ее рта несло столь противно, то у всякого, кто замечал ее хотя бы издали, тотчас же пропадал аппетит. Целыми днями она только и

болтала, что о свадьбах да о своем сыне на чужбине и расписывала, какой он статный малый. Клянусь, я не прожил у этой хозяйки и трех недель, как ее отсутствовавший сын вновь появился дома. Он был одет, черт возьми, не иначе, как какой-нибудь лудильщик кастрюль, и вонял табаком и водкой, как гнуснейший мародер. Ну и дьявольщина! Каких только басен не рассказывал этот парень о том, где он побывал, но все это, черт возьми, было чистое вранье. После того как его приветствовала мамаша, а также его братец, он попытался начать со своими сестрами разговор по-французски, но ничего, черт меня побери, кроме «Oui» * и произнести не мог. А если его спрашивали по-немецки, был ли он там-то и там-то, он отвечал всякий раз «Oui». Тогда братец обратился к нему с такими словами: «Мне рассказывали, что ты был не дальше Галле в Саксонии, верно это?» А он ему опять-таки в ответ — «Oui». Как только он и на это ответил «Oui», мне, черт возьми, пришлось прикусить язык, чтобы не захохотать, дабы он не заметил, что я в этих вещах разбираюсь лучше, чем он. Да я по глазам его сразу прочел, что он от Падуи и на милую не отходил.

Так как с французским у него дело не пошло, он начал говорить по-немецки и очень старался болтать, как иностранец, но родной язык постоянно выдавал его так, что и ребенок мог это заметить, насколько трудно ему это давалось. Я притворился совершенно простодушным и сначала не проронил ни слова о своих странствованиях. Но парень так разводил турусы на колесах, что уши могли завянуть, а ведь во всем этом не было ни капли правды. Ведь я знал

* Да (фр.).

все это гораздо лучше и давно поистоптал свои подошвы в тех землях и городах, где он якобы побывал. Студенты, жившие на постоялом дворе, звали его «иностранцем» по той причине, что он будто бы побывал всюду. Только подумать, какую ужасную ахинею нес этот проклятый парень, иностранец! Ибо когда я его спросил, удалось ли ему также повидать и претерпеть что-либо необыкновенное там и сям, и на воде и на суше, он мне ответил, что если начнет сейчас рассказывать об этом, то я ни шиша не пойму. Сто тысяч чертей! Как разозлила меня дерзость негодного лентяя, болтавшего про шиш; еще немного, и я зажег бы ему такую оплеуху, что он мигом присох бы к столу. Однако я поразмыслил: «Чего ты лезешь из кожи? Дай ему нести вздор и послушай, что он будет молоть дальше». Затем иностранец начал разглаговльствовать о мореплавании. Черт побери, не могу и передать, какую околесицу нес он о судах, особенно о тех, что называют баркасами. Ибо с огромным удивлением описывал он своим сестрам, как в страшный шторм и грозу он с двумя тысячами пассажиров за



один день добрался на баркасе из Голландии в Англию, не промочив даже ног. Сестры иностранца были весьма поражены. Я же не промолвил ни слова, но про себя от души посмеялся над тем, что иностранец плел такие невероятные небылицы о дрянном баркасе. Мне только не хотелось его стыдить и откликаться на его чушь. Ибо, если бы этот парень услышал, как мне с моим покойным братом-графом пришлось проплыть на доске свыше сотни миль, прежде чем мы увидели землю, и как однажды одна-единственная доска спасла нам, пятидесяти душам, жизнь — проклятье! — как он развесил бы уши, как глазел бы на меня! А так, подумал я, пускай себе болтает,— если люди такие дураки и их удивляет подобная чушь. Далее иностранец поведал также о том, как он жил в Лондоне и пользовался там таким необыкновенным успехом у женщин, что одна знатная дама влюбилась в него настолько, что не могла и дня прожить без него, и если он не являлся к ней каждый день, то она тотчас же посылала за ним камер-лакея, который был обязан всякий раз доставлять его в легком экипаже, запряженном одиннадцатью гнедыми. А когда он появлялся у этой благородной дамы, то она постоянно подпаивала его сначала фисташковой настойкой, прежде чем начинала болтать с ним о любовных делах.

Он имел,— говорил он,— такой успех у упомянутой дамы, что она ежедневно ссужала ему 50 000 фунтов стерлингов, дабы он распорядился ими по своему усмотрению. Ну и проклятье! Какие это были опять-таки враки, а сестры иностранца, черт возьми, верили всему. Одна из них спросила его, сколько составляет фунт стерлингов в немецкой монете, а он ответил, что фунт стерлингов на немецкие деньги — шесть пфенни-

гов! Тьфу, проклятье, как меня разозлил этот парень принпмавший фунт стерлингов за 6 пфеннигов, ибо ведь в немецкой монете, черт возьми, фунт стерлингов составляет один шрекенберг³, что в Падуе равняется половине батцена⁴. Ничто меня так в душе не сместило, как постоянное вмешательство братца иностранца: в то время как иностранец врал, братец его не желал верить ни одному его слову и всякий раз вставлял свое слово, спрашивая, как это он осмеливается болтать то об одних, то о других странах, если он не удалялся от Падуи больше чем на милю. Такие речи крепко досаждали иностранцу, но сильно браниться он не хотел, потому что это был все-таки его брат, и только заметил: «Ты, малыш, хорошо разбираешься лишь в торговле голубями». Но братца обидело, что иностранец назвал его малышом и проехался насчет торговли голубями; пострел воображал, будто он уже взрослый парень, ведь, будучи пятнадцатилетним мальчуганом, он уже девять лет как носил шпагу. Он стремглав побежал к мамаше и пожаловался ей, что брат-иностранец назвал его малышом. Мать это тоже рассердило и возмутило, поэтому она дала мальчугану денег, послала его в Падуанский университет, чтобы он записался там в студенты. Вернувшись оттуда, он обратился к своему брату-иностранцу и сказал: «Ну, вот теперь и я стал настоящим парнем, и горе тому, кто не будет меня считать за такового!» Иностранец смерил взглядом младшего брата сверху донизу и, оглядев его с насмешливой миной сзади и спереди, со всех сторон, произнес: «Ты еще настоящий щенок!» Младшего брата страшно разозлило, что иностранец так опозорил его перед всеми людьми, он всполошился, выхватил свою шпажонку и

объявил иностранцу: «Если тебе кажется во мне что-то не так или ты думаешь, что я еще не настоящий парень, то становись-ка сюда, я тебе сейчас покажу, как дерутся бурши!» У иностранца затряслись поджилки, когда он увидел обнаженную шпагу брата, он начал дрожать от страха и не мог вымолвить и слова, пока, наконец, младший брат не вложил шпагу в ножны и не помирился с ним. Но я, черт возьми, и передать не могу, как этого новоиспеченного студюзуса дразнили бурши, жившие в доме, и прочие студенты. Они прозвали его незрелым студентом, а когда я спросил, почему они это делают, мне ответили, что он еще не вполне подготовлен для университета и поэтому его мамаша наняла ему ежедневного репетитора, который проходит с ним Доната⁵ и грамматику. Дабы, однако, незрелому студенту не испытывать стыда за то, что будто бы над ним еще властвует школьная розга, он выдавал репетитора за своего товарища по комнате.

В то время как один из буршей рассказывал мне это и намеревался еще больше рассказать о незрелом студенте, меня позвали к ужину.

За столом иностранец вновь начал хвастаться своими странствиями и тем, как он был во Франции и чуть-чуть не удостоился чести видеть короля. Когда же его сестры спросили, каковы сейчас последние моды во Франции, он ответил, что если кто желает познакомиться с новейшими костюмами и модами, то может узнать это только у него, потому что еще до сего дня он держит во Франции собственного портного, которому ежегодно выплачивает содержание, вне зависимости от того, шьет тот что-нибудь в настоящее время для него или нет; если кому-нибудь угод-

но заказать что-либо этому портному по новейшей моде, то стоит лишь обратиться к нему, то есть к иностранцу, он напишет письмо портному, который не имеет права и стежка сделать для постороннего без его разрешения. Невозможно, черт побери, передать, как расхваливал своего лейб-портного иностранец и поносил при этом всех портных мира, особенно не ставя ни во что немецких портных: по его мнению, они не стоят и сивь-пороха, так как воруют много ткани.

После того как он закончил, а его сестры-девицы не пожелали много говорить об этом, он позвал слугу, чтобы тот сбегал в аптеку и купил ему на четыре гроша фисташковой настойки. Черт меня побери, невозможно и передать, какие небылицы рассказывал иностранец о фисташковой настойке, как полезно принимать ее рано поутру от маточных болей и тугухости и как отлично она успокаивает желудок при позывах на рвоту. А я молча думал: «Хвали себе сколько хочешь свою фисташковую настойку, а я остаюсь при своем оливковом масле». Ибо, я повторяю еще раз, нет на свете ничего более полезного и лучшего, чем стаканчик оливкового масла, если тебя тошнит. Когда слуга вернулся с фисташковой настойкой,— ну и проклятье! — как жадно опрокинул иностранец этот напиток, словно стакан воды выпил,— и даже не поморщился!

После того как он отвел душу фисташковой настойкой на четыре гроша, он начал болтать о торговле и коммерции в Германии и сказал, что большинство немецких купцов плохо разбираются в торговле и каждый сотый из них даже и не представляет себе, что называется коммерцией. Напротив, французы — на-

стоящие купцы, гораздо лучше понимающие в торговле, не то что глупые немцы. Едва я услышал, как иностранец начал болтать о глупых немцах — сто тысяч чертей! — я ведь немец и провалиться мне, если бы я смолчал, как самый последний трус! И я сразу же заявил ему: «Слушай, парень! Ты что это поносишь немцев? Я сам — немец, и сукин сын тот, кто не считает их лучшими людьми!» Только я утер нос иностранцу «сукиным сыном», как он неожиданно засветил мне такую оплеуху, что морда моя моментально вспухла, словно вареная колбаса. Но я встал позади стола, схватил его искусным манером за черный чуб и за одну оплеуху отплатил ему, наверно, тысячей. Ну и дьявольщина, как тут вцепились в мои волосы его сестры, незрелый студент и его репетитор или, вернее сказать, товарищ по комнате, и оттрепали меня основательно! Я быстро выскочил из суетолоки, одним прыжком оказался позади стола и бегом устремился к кафельной печке, в нише которой я повесил на деревянный гвоздь свой большой сундук. И так как он, благодаря салу, пожалованному мне милосердными братьями в монастыре, был достаточно тяжел, то стоило поглядеть на отличное «отсундучиванье» — когда я колошматил своим большим сундуком сестер иностранца, незрелого студента, его репетитора (то бишь товарища по комнате) и самого иностранца. Иностранца с перепугу начало ужающим образом рвать фисташковой настойкой, которую он так жадно выдул за столом, и во время непрерывной рвоты он просил о пощаде и обещал, что, когда рвота прекратится, он решит это дело поединком. Ай да проклятье! Это же была вода на мою мельницу — болтовня иностранца о поединке, и я тотчас же отве-

тил: «Идет!» — и перестал его колотить своим большим сундуком. Зато приятеля незрелого студента по комнате я «отсундучил» самым плачевным образом и утверждаю, что, в конце концов, и «присундучил» бы его до смерти, если бы не мамаша и сестры иностранца, страшно умолявшие за него; у мамыши и дочерей он пользовался большим уважением. Мамаша, то есть хозяйка, часто говаривала другим буршам в доме, что ее сын еще никогда не имел такого хорошего наставника и если он и впредь будет таким же, то его следует озолотить. Прочие же, которых она нанимала, большей частью надували ее, особенно она рассказывала об одном седовласом — кучу де-



нег взял у нее в долг и ни разу ничего не отдал; а также и о другом, который умел открывать все замки и стащил у нее немало вещей; однако я забыл, как их обоих звали.

После того как иностранца перестало рвать, я повесил вновь свой большой сундук в печную нишу, обнажил свою длинную острую шпагу, которую я в то время носил, и предложил ему выйти за ворота. Иностранец также обнажил свою шпагу, каковая была широкой мушкетерской саблей с отвратительной рукоятью, и мы оба стремглав направились к воротам. Недозрелый студент со своим приятелем тоже устремились было за нами следом, но я и иностранец прогнали этих бездельников. За воротами, сразу же у городской стены, была высокая гора с остроконечной вершиной; мы взобрались на нее и сошлись на вершине. Мы, правда, могли бы сразиться и внизу, у подножья, но у нас не было секундантов; будь они у нас, они были бы обязаны стоять сзади нас с обнаженными шпагами, дабы никто из нас не смел отступить. Но за их отсутствием секундантом должна была послужить сама островерхая гора, ибо здесь никто из нас не смог бы увернуться: отступи один из нас хотя бы на пядь от своей позиции, и мы оба покатались бы с горы вверх тормашками, начисто переломав руки и ноги из-за нашей драки. Поэтому я и иностранец замерли на вершине и во время поединка вынуждены были стоять на цыпочках, не осмеливаясь сделать и шагу назад. Перед началом иностранец обратился ко мне и предложил, чтобы я только рубил шпагой, так как у него нет острого клинка для уколов, или, если это меня устраивает, мы сперва будем сражаться ударами, а затем он попытается перейти и



к уколам. Ну, я, значит, сразу тут же понял, что у иностранца сердце ушло в пятки, и сказал ему: «Ну-ка, парень, подойди только сюда, мне все равно, как драться, долго я с тобой канителиться не буду». С тем и обнажили мы шпаги и сошлись на удар. Ай да проклятье! Чуть только изящным манером вытянул я шпагу из ножен, как с первого же выпада сразу отрубил у иностранца его большую саблю по рукоять, а при обратном ходе шпаги хватил его по носу ударом «высокой квартиры»⁶ и отрубил ему, черт меня побери, добрую четверть носа и оба уха. Ох дьявольщина! Как же горевал иностранец, глядя на свои уши, лежавшие перед ним на земле! Я было намеревался сделать его таким же тупоносым, как и Ганса

Барта, но раз он так уж сильно огорчился из-за потери ушей и умолял оставить его в покое и обещал, что никогда в жизни не вздумает снова поносить немцев, а, напротив, всякий раз будет утверждать, что они самые храбрые люди на свете, я вложил свою шпагу вновь в ножны, велел ему поднять оба уха с земли и спешно отправиться к цирюльнику,— возможно, тот их снова ему приладит.

После этого он начал собираться — завернул свои уши в носовой платок, взял свою поломанную саблю с большою рукоятью подмышку и пошел со мной в город Падую. В большом доме, сразу же рядом с воротами, где стоит караульный, жил фельдшер, о котором говорили, будто он немало постранствовал, к нему я и велел пойти иностранцу с его отрубленными ушами и узнать, можно ли их вновь приделать. Но у иностранца не было охоты идти к фельдшеру, напротив, он заявил, что, во-первых, хочет опрокинуть хороший стаканчик фисташковой настойки, а затем отправится на лечение к живодеру и узнает у него, можно ли приладить уши. С этими словами он отстал от меня и направился в аптеку, а я, чтобы никто не заметил, пробрался тайком в дом мамыши иностранца (где я снимал квартиру), извлек из печной ниши весьма искусным манером свой большой сундук, сел вновь на выигранную мной лошадь и, не заплатив за постой и не попрощавшись, выехал из Падуи в Рим.

С той поры я и в глаза никогда больше не видал ни иностранца, ни недозрелого студента с его репетитором, то бишь приятелем по комнате. Но недавно я услышал от университетского посыльного из Падуи, что живодер в два дня *feliciter* * приделал уши иностран-

* Счастливо, удачно (*лат.*).

ранцу. За эти два дня живодеи немало потрудился над ним, а иностранец за время лечения вылакал один-одинешенек двенадцать кувшинов фисташковой настойки, и от этого самого, полагал посольный, он главным образом и поправился.

Что касается незрелого студента, репетитора, а также всей семьи иностранца, я до сих пор не знаю, что они поделяют.

А теперь адье, Падуя, синьор Шельмуфский должен узнать, как выглядит Рим!



Рим, черт меня побери, тоже славный город, но только постоянно сожалеешь, что снаружи он не имеет никакого вида. Он построен в месте, совершенно заросшем тростником и камышом, а вокруг него течет река, именуемая Тибр, и Тибр протекает в центре города и через рынок. Поэтому по рынку невозможно ходить пешком; в рыночный день крестьяне вынуждены продавать масло и сыр или гусей и кур только на баркасах. Будь я проклят, сколько бесчисленных баркасов можно видеть ежедневно на римском рынке! Кто желает продать хотя бы полдюжины яиц, и то должен тащить их на рынок на баркасе, так что в иной день там выстраивается несколько тысяч крестьянских баркасов.

На рынке всегда продается превосходная рыба, что же особенно касается сельдей, то они, черт возьми,

блестят от жира, словно брус сала, и необычайно аппетитны, особенно если их вдоволь полить оливковым маслом.

И нисколько не удивительно, что здесь водится такая жирная сельдь, ибо в Тибре возле Рима она чрезвычайно хорошо ловится и город Рим славится на весь мир своими сельдями. Вся сельдь в Германии, у любой торговли, выловлена, черт возьми, только в Тибре у Рима, ибо лов сельди — привилегия папы, а так как он слаб на ноги и сам не может с ним управляться, то он отдал его в аренду некоторым рыбакам и они обязаны платить папе за это ежегодную большую мзду.

Добравшись со своим большим сундуком до Рима верхом, я не мог из-за Тибра въехать на лошади в город и был вынужден сесть на баркас, погрузить на него мой сундук и лошадь и так въехать в город Рим. Благополучно достигнув на баркасе берега со своим большим сундуком и лошадью, я снял квартиру у одного звездочета, жившего неподалеку от Рынка сладостей¹ на Селедочной улице. Это был, черт возьми, необычайно славный человек, прославившийся чуть ли не на весь мир своим звездочетством. Особенно что касается звезд неподвижных², то он по ним мог предсказать устрашающие вещи; ибо, если шел даже совсем небольшой дождь, а солнце пряталось за мрачными тучами, то он сразу мог сказать любому, что небо не совсем ясно. Этот самый звездочет водил меня по всему городу Риму, показал мне все древние достопримечательности, и я перевидал их столько, что теперь ни одной и припомнить даже не могу. Наконец он повел меня в большой каменный дом возле собора святого Петра³, весь крытый мраморной черепицей, и

когда мы вошли в него и оказались наверху в прекрасном зале, то там в большом дедовском кресле сидел старик в меховых чулках и спал; к нему, по приказанию звездочета, я должен был тихо приблизиться, снять с него меховые чулки и затем поцеловать его ноги. Тьфу, черт возьми, трудно и передать, как воняли ноги у этого старикана, бьюсь об заклад, что он их, наверное, с полгода не мыл. Поцеловав его вопючие ноги, я было хотел его разбудить и спросить, почему он не прикажет служанке приносить каждый вечер бочку воды и мыть себе ноги, коли уж пошла такая мода, что нужно их целовать⁴; но звездочет подал мне знак не тревожить его сна и тихо сказал мне, чтобы я вновь надел меховые чулки Его Святейшеству. Сто тысяч чертей! Услышав о Его Святейшестве, я поспешно надел ему снова меховые чулки, спустился со звездочетом вниз из зала и отправился домой. И только за дверью звездочет объяснил мне, что тот, кому я целовал ноги, был Его Папское Святейшество, и прибавил также, что кто из прибывших в Рим немцев не целовал папе ноги, не имеет права хвалиться (по возвращении в Германию), будто он был в Риме. Таким образом, я с полным основанием могу сказать, что был в Риме, хотя, быть может, звездочет и пустил мне пыль в глаза и выдал за неподвижную звезду просто-напросто какого-нибудь старого посыльного, у которого отчаянно воняли ноги. Но если бы мне пришлось поклясться, что тот, кому я целовал ноги, достоверно был папой, то совесть моя была бы неспокойна, ибо звездочет, черт возьми, показался мне человеком, знавшим где раки зимуют, потому что весьма увлекался неподвижными звездами; стоило ему только подумать о неподвижной звезде, и он уже знал, какая

ождается погода. Этот звездочет был превосходный составитель календарей, он и меня выучил этому искусству, и я составил очень много календарей, до сих пор валяющихся заброшенными под лавкой; а между тем предсказания их, черт возьми, порой почти сбываются. Если б я знал, что на них найдутся любители, я бы со временем какой-нибудь из них отыскал да и издал для пробы. Но придет беда, купишь ума.

Однако пора возвратиться к тому, о чем я говорил, и рассказать, куда меня еще водил звездочет, после того как я поцеловал папе ноги. Совсем рядом с собором святого Петра была узкая улочка, через какую звездочет и провел меня до рынка. Когда мы явились на рынок, он спросил, нет ли у меня охоты сесть на баркас и прокатиться к месту лова сельди? Я сразу же промолвил: «Идет!» Мы оба сели на баркас и, так как был попутный ветер, поплыли вниз по Тибру мимо рынка и от Селедочных ворот⁵ спустились по рукаву реки к месту лова.

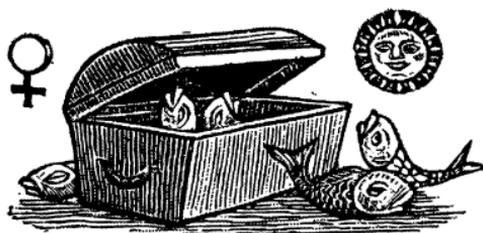
Когда мы прибыли на нашем баркасе к месту лова сельди — ну и проклятье! — какие раздавались вопли рыбаков-арендаторов! И так как я спросил их, что случилось, то они рассказали мне со слезами на глазах, какой ущерб нанес им морской разбойник Барт с обрубленным носом, подлым образом отняв у них с несколькими пиратами всего полчаса назад больше 40 бочек свежей сельди. Сто тысяч чертей! Как тут у меня выиграла печенка, едва я услышал об этом тупоносом Гансе Барте! Я сразу же догадался, что это должно быть тот самый парень, который когда-то с ужасающим числом пиратов взял меня в плен в Испанском море и тем самым сделал меня в ту пору ничим. Я сразу же вскочил и спросил у рыбаков, куда

направился этот висельник с бочонками сельди? И так как они мне объяснили и показали, что он со своим пиратским кораблем, нагруженным бочками с сельдями, еще находится на Тибре, я погнался за ним вместе со звездочетом и рыбаками на нескольких баркасах и, поскольку был попутный ветер, настиг его еще в полумиле от места лова. Ай да проклятье! Едва Ганс Барт завидел меня издали, как у него сразу же сердце ушло в пятки, он покраснел, как головка сыра, и, видимо, тотчас же припомнил, что я тот, кто так ужасно обезобразил его нос. Когда же мы на наших баркасах догнали Ганса Барта с сорока бочками сельди, я обратился к нему со словами: «Послушай-ка, парень, возвратишь ли ты сельди, забранные у бедных рыбаков, или хочешь, чтобы я твой тупой ястребиный нос снес саблей начисто?» На что Ганс Барт отвечал, что он скорее простится с жизнью, чем по доброй воле возвратит хотя бы один селедочный хвост. Тогда я направил свой баркас на его пиратский корабль, обнажил свою длинную шпагу, и надо было видеть, как я фехтовал и заставил поплясать Ганса Барта на его пиратском корабле; он, правда, со своими пиратами оборонялся, но они ничего не могли со мной поделать. Ибо как только они стремились рубануть или уколоть меня, я отскакивал, как молния, со своим баркасом в сторону, а Ганса Барта, черт подери, я гонял все время вокруг сорока бочек сельди, нагруженных на его корабль, и рубил его справа и слева, как капусту с репой. Наконец я так разолился на этого висельника, что подошел вплотную к его пиратскому кораблю, и не успел он оглянуться, как схватил его за его воровскую шкуру, вытащил из пиратского корабля и окунул прямо в



Тибр. Сто тысяч чертей! Стоило послушать, как орал Ганс Барт, как умолял меня помочь ему, ради бога, выбраться, чтоб он не захлебнулся, он-де охотно возвратит рыбакам их сорок бочек сельдей. Услыхав такие речи Ганса Барта, я тотчас приказал рыбакам обчистить пиратский корабль и держал разбойника за уши в воде до тех пор, пока рыбаки не забрали обратно свои бочки с сельдями, а затем позволил ему на его пустом пиратском судне идти, куда ему вздумается. Ну, провалиться мне на месте! Какие радостные крики раздавались среди рыбаков-арендаторов из-за того, что они благодаря мне выручили свои бочки с сельдями. Они просили меня все вкупе, чтобы

я согласился стать хранителем их сельди, они готовы были платить мне ежегодно десять тысяч стерлингов, но у меня к этому не было никакой охоты. Возвратившись на наших баркасах с сорока бочками сельди к месту лова, арендаторы преподнесли мне в качестве вознаграждения бочку лучших сельдей, которую я погрузил на свою баржу и отплыл со звездочетом в город Рим. Прибыв на квартиру к звездочету, я велел вскрыть бочку и отведать селедку на вкус. Ну, черт меня побери, трудно и передать, какими жирными были эти сельди, без соли их и жрать было невозможно, хотя при закладке их уже крепко посолили. И так как я знал, что госпожа моя матушка большая любительница свежей сельди, то уложил подаренную мне бочку в свой большой сундук и отправил таковой со специальным гонцом в Германию, в Шельмероде, приложив при этом весьма недурно составленное письмо нижеследующего содержания:



Желаю Вам прежде всего добра и счастья,
уважаемая и достопочтенная госпожа матушка!

Если госпожа матушка, черт меня побери, все еще чувствует себя бодрой и здоровой, то это доставит мне, черт возьми, истинную радость; что же касается

меня, то я теперь вновь стал славным парнем, живу в Риме, где снимаю квартиру у звездочета, научившего меня составлять календари. Через этого гонца госпожа матушка получит в моем большом сундуке свежую сельдь, которую преподнесли мне сельдяные арендаторы в Риме. О прочем же моем положении сообщит гонец на словах.

Будьте здоровы, госпожа матушка, и когда будете отсылать обратно мой большой сундук, вложите туда бочоночек доброго густого пива и напишите, как Вам живется и с Вами ли еще находится мой двоюродный братец.

Остаюсь всегда Вашим единственным
любящим сыном, жаждущим странствий
синьором Шельмуфским

Рим, 1 апреля 090 года с основания города ⁶.

Это письмо со своим сундуком, полным свежих селедок, я отправил со специальным пешим гонцом в Германию. Не прошло и двух недель как гонец привез мне в моем большом сундуке следующий ответ от госпожи моей матушки:

Достопочтенный и прославленный фон
Шельмуфский, мой любимый сын!

Я получила твой большой сундук со свежей сельдью, прочла также твое письмо, а гонец все рассказал мне о твоём положении, чему я весьма порадовалась. Что касается меня, то я в настоящее время нахожусь при смерти, и если ты хочешь застать меня еще в живых, то возвращайся немедленно домой. Твой маленький братец передает тебе привет, а твои девицы-тетки желают тебе добра и тоже просят возвра-

щаться домой скорей. Будь здоров и не мешкай на чужбине.

Остаюсь навеки твоей любящей матерью,
проживающей в Шельмероде, в Германии.
Шельмероде, 1 января 1621.

P. S. Пиво в настоящее время скисло, а то бы я охотно тебе прислала немного.

Сто тысяч чертей! Едва я прочитал письмо госпожи моей матушки, как сразу же начал укладывать все в свой большой сундук, оседлал лошадь, попрощался со звездочетом, погрузился вместе со своей лошадью на рынке в городе Риме вновь на баркас и спешно отплыл от Селедочных ворот вниз по реке к лежбищу сельдей. За городскими воротами я сошел с баркаса, сел с моим большим сундуком на свою лошадь и направился в Германию. Я проехал через Польшу в направлении Нюрнберга, где и переночевал в «Золотом гусе». Отсюда намерен был я направить свой путь через Шварцвальд, находящийся в двух милях от Нюрнберга. Едва я углубился в Шварцвальд на расстояние ружейного выстрела, как на меня неожиданно напали два разбойника, раздели, черт возьми, до питки и прогнали в одной рубашке, хорошо наkostenяв по шее. О проклятье! Каково было мне, когда моя лошадь, мое платье, моя тысяча дукатов и мой большой сундук со всем моим добром — все пропало! Тут уже было, черт меня побери, не до смеха! Но ничего нельзя было поделать, надо как-то выбираться из Шварцвальда. И отсюда вплоть до Шельмероде я перебывался случайной милостыней.

О том, как меня, раздетого донага, встретила госпожа моя матушка и как высмеял меня мой двоюрод-

Часть вторая, V

ный братец,—искусное описание всего этого — вы сможете прочесть в будущем, в третьей части моих преопасных странствий или в моих любопытных ежемесячниках, о чем я уже сообщал в предисловии.

А посему каждый сейчас согласится со мной,
что и Вторая часть описания
преопасных странствований Шельмуфского
пришла, значит,
к концу.



ПРИЛОЖЕНИЯ

*Кристиан Рейтер
и его «Шельмуфский»*

В 1694 г. в Лейпциге, в гостинице «Красный лев», произошел весьма прозаический случай, которому, по шутливому замечанию одного исследователя, немецкая литература обязана появлением выдающегося писателя: двое студентов местного университета за неплату квартирных долгов были выброшены на улицу хозяйкой гостиницы Анной Розиной Мюллер. А через год Анна Розина Мюллер, по всей вероятности, горько раскаивалась в душе за такую поспешную расправу со своими постояльцами. Весь Лейпциг смеялся над этой мещанкой, легко узнав ее в комедии «Честная женщина из Плиссина» («L'Honnête Femme, oder Die ehrliche Frau zu Plißine») в образе фрой Шлампампе, особенно по ее характерному выражению, которое она повторяет в пьесе на каждом шагу: «Это так же верно, как то, что я честная женщина!» Подобные настойчивые заверения были явно подзрительны. Комедия была сыграна студентами университета, которые не удовлетворились сценической защитой своих потерпевших бедствие братьев по alma mater, но также устраивали не раз под окнами «честной женщины» ночные кошачьи концерты-серенады. Кличка «Шлампампе»¹ прочно утвердилась за хозяйкой гостиницы и, так сказать, обессмертила ее в веках. Несмотря на то, что пьеса была издана под псевдонимом «Хилариус» (лат. «веселый») и на титуль-

¹ Нем. — Schlampampe — кутила; нем. — Schlampe — неряха. В имени Шлампампе сливаются значения обоих этих слов.

ном листе она значилась как перевод с французского, это никого не обмануло и особенно ффрау Мюллер, которая подала в университетский суд на одного из изгнанных ею квартирантов, студента теологии Кристиана Рейтера, обвинив его в пасквильанстве. В конце концов, под давлением неопровержимых улик, Рейтер вынужден был признаться в авторстве. Молодого издателя комедии приговорили к штрафу в десять талеров, он понес судебные издержки, и 200 нераспроданных экземпляров было конфисковано. Рейтера же суд постановил исключить на два года из университета и приговорил к пятнадцатинедельному заключению в карцере. Так Кристиан Рейтер вступил на тернистый путь сатирика. Притом с него было взято обещание воздерживаться впредь от нападок на ффрау Мюллер и ему запрещался выезд за пределы Лейпцига.

Ни того, ни другого предписания он не выполнил. В результате поданной апелляции заключение, правда, было отменено, но и за те немногие дни, что он отсидел в карцере, Рейтер успел написать новое произведение против хозяйки — оперу «Синьор Шельмуфский», в которой прототипом главного героя являлся сын ффрау — Евстахий. Вскоре, в 1696 г., он пишет еще одну комедию — «Болезнь и кончина честной госпожи Шлампампе», и, наконец, эту тетралогию о хозяйке «Красного льва» достойно венчает надгробное слово «В память почившей в бозе честной женщины Шлампампе», пожалуй самое едкое, что было создано Рейтером на эту тему. В результате продолжавшихся происков ффрау Мюллер в июле 1697 г. он был схвачен и брошен в так называемый крестьянский карцер — тюрьму для преступников, где, по его словам, он «чуть не подох». А в сентябре этого же года его исключили

на шесть лет из университета и изгнали из Лейпцига. В 1699 г., уже после смерти противницы писателя, в результате доноса некоего адвоката Геце, выследившего Рейтера, который тайком посетил Лейпциг, он был окончательно вычеркнут из числа студентов.

В неистовом характере творчества Рейтера нельзя, разумеется, видеть лишь проявление темпераментности его натуры и акт личной мести. Вся его писательская деятельность была выражением протеста передовых слоев бюргерской интеллигенции против обветшалых феодальных устоев Германии XVII в.— одной из самых мрачных эпох в истории страны.

Сокрушительным смерчем прокатилась по Германии братоубийственная Тридцатилетняя война (1618—1648), определившая длительную отсталость страны и закрепившая ее политическую раздробленность.

Медленно, очень медленно залечивала Германия свои раны, отбросившие ее чуть ли не на целое столетие назад. И только на рубеже XVII—XVIII вв. начинает ощущаться некоторый общий подъем, растет благосостояние бюргерства. Особенно сказывается это в Саксонии и ее столице Лейпциге. Расположенный в центре старых торговых путей, Лейпциг, наравне с Гамбургом, вырос в один из торговых центров, который сохранял частично почти республиканскую свободу по отношению к притязаниям князей. Когда в 1697 г. курфюрст саксонский Август Сильный стал одновременно и польским королем, приняв католичество, то протестантский университет оказался в резкой оппозиции к дрезденскому двору и позволял себе иметь собственное мнение. В городе неоднократно происходили студенческие волнения, свидетелем которых мог быть Рейтер. Сопоставляя милитаристскую Пруссию,

возвышение которой происходило также в это время, с Саксонией, Франц Меринг отмечал: «...Саксония превосходила остальную Германию и в смысле культуры, и в смысле благосостояния. Как ни принижено было население в политическом отношении, в экономическом оно было еще достаточно сильно, чтобы противиться введению разорительной для него военной системы, которая в Пруссии была навязана городскому и крестьянскому населению без всякого протеста с его стороны. Сравнительно с числом населения саксонская армия была втрое меньше прусской и стоила втрое дешевле, чем прусская... Наконец, каким плохим зеркалом ни были саксонские высшие школы, все-таки только они одни могли воспринять отблески просвещения, пробивавшиеся из-за границы в Германию»². Эти «отблески нового просвещения» были представлены деятельностью выдающихся ученых и писателей-саксонцев или трудившихся в Саксонии. К ним, в первую очередь, относились Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716), Самуэль Пуфендорф (1632—1694) и Кристиан Томазий (1655—1728).

Из известных литературных саксонских имен к ним можно прибавить современника Рейтера Кристиана Вейзе (1642—1708), пролагавшего новые пути для реалистического бюргерского театра в Германии, особенно комедии, а в первой половине XVIII в.— сатирика Геллерта, реформаторов немецкого языка и сцены Готшеда и Каролину Нейбер и, наконец, Клопштока и Лессинга — подлинного отца немецкого Просвещения периода расцвета. В Саксонии же возникает и

² Фр. М е р и н г. Литературно-критические работы в 2-х томах, т. 1. М., «Academia», 1934, стр. 300.

немецкая журналистика. В 1682 г. начинает издаваться научный журнал, обращенный главным образом к ученым и потому выходивший на латинском языке — «Acta eruditorum», реферировавший успехи научных исследований и проповедовавший идеи терпимости. А в 1688 г. Томазий начинает издавать научно-популярный журнал на немецком языке — «Ежемесячные беседы», способствовавший распространению образования и просвещения в более широких кругах. Общий дух этой журналистики хорошо выразил Томазий, который мужественно заявил в последнем номере этого журнала, прекратившего свое существование из-за нападок реакции: «Республика ученых не признает над собой власти, кроме здравого разума. Граждане этой республики независимо от национальности и сословия — равны, их голоса в равной мере заслуживают доверия... Пусть повсюду засияет разум человека, и да не зиреет он от покорности какому-нибудь властелину»³.

В этой обстановке начинающегося подъема бюргерского освободительного движения, в передовом Лейпциге, и сформировались талант и мировоззрение Кристиана Рейтера, который продолжил лучшие демократические традиции литературы XVII в. и подготавливал грядущий век Просвещения.

* * *

Сын потомственного крестьянина, испытавшего ужасы Тридцатилетней войны, Рейтер родился в октябре 1665 г. в деревне Кютен, близ Галле. Биографических

³ Цит. по «Истории немецкой литературы», т. 2. М., Изд. АН СССР, 1963, стр. 29.

сведений о его детстве и юности почти не сохранилось. По-видимому, сначала он посещал церковную школу в Мерзбурге, где учился родному и латинскому языкам. После смерти отца (1683), оставившего многодетную семью, Рейтер столкнулся с бедностью. Трижды обращался он к магистрату городка Цербит с просьбой назначить ему стипендию для учения и получил ее лишь после четвертого прошения, в 1689 г., будучи уже год студентом Лейпцигского университета. Как большинство бедняков, он вынужден был избрать профессию пастора и поступил на теологический факультет. Студентом он стал довольно поздно, в 23 года (тогда как обычно в университет записывались с 16 лет), что, вероятно, опять-таки свидетельствует о материальных лишениях молодого Рейтера. Как можно судить по его произведениям и образу жизни, был он человеком весьма жизнерадостного нрава, искренним, очень непосредственным в выражении своих чувств, с какой-то долей доброй наивности; притом, вероятно, горячим, несдержанным, острым на язык. Будущая профессия священника, надо полагать, не очень его увлекала. Поэтому он не столько посещал лекции и штудировал Священное писание, сколько проводил время с университетскими друзьями в кабаках, в частности, в знаменитом погребеке Ауэрбаха. Закадычным его другом был померанец Иоганн Грель, «вечный студент», пробывший в университете четырнадцать лет! Грель был старше его и опытней в буршикозных делах и разделил с ним гнев фрау Мюллер. Студенческая братия в своих песнях, нередко сочинявшихся за кружкой пива, издевалась над фавориткой курфюрста, графиней фон Рохлиц, смеялась над сынками лейпцигских патрициев, как об этом свиде-

тельствует поэзия «круга Рейтера». Ряд буржуазных немецких исследователей творчества писателя, например И. Риссе, сокрушались по поводу беспутного студента Рейтера — они желали бы видеть в нем добропорядочного обывателя: «Богатому, многообещающему таланту Рейтера, видимо, не хватало строгой самодисциплины и моральной сдержанности»⁴. Но в этом случае, видимо, не было бы и Рейтера, каким мы его знаем. На самом же деле поединки, любовные похождения, пирушки, задорная поэзия и студенческие проделки — вся эта вольная жизнь немецкого бурша была и своего рода протестом против ненавистной теологии, ученого педантизма, мертвящей лютеранской ортодоксии. Как впоследствии и Лессинг, в том же Лейпциге и на том же факультете, Рейтер учился больше у жизни, чем у профессоров. Когда же стараниями «честной женщины» путь к пасторскому званию был для него закрыт, он, наверно, без особого сожаления покинул благочестивый факультет и обратился к праву. С 1697 г. он именуется уже студентом юридического факультета.

Настоящей страстью неудавшегося теолога и юриста был театр. В 1693 г. в Лейпциге открылась опера, а рядом с гостиницей «Красный лев» во время ярмарки играли странствующие английские, французские, итальянские труппы, оказавшие немалое влияние на развитие светской профессиональной сцены в Германии. Именно в Саксонии возникла первая постоянная труппа Иоганна Фельтена, в которой, между прочим, начинают выступать на подмостках и актрисы.

⁴ J. R i s s e. Chr. Reuters «Schelmuffsky» und sein Einfluß auf die deutsche Dichtung. Münster, 1911, S. 8.

Фельтен окончил Лейпцигский университет и был современником Рейтера. Постановки этого театра, безусловно, мог видеть будущий сатирик. В театре Фельтена были представлены впервые комедии Мольера «Скупой», «Проделки Скапена». Несомненно, Рейтер был хорошо знаком и с излюбленным жанром тогдашней широкой публики — народными комедиями и фарсами, которыми зачастую заканчивалось представление серьезных трагедий. В них действовали или популярная фигура арлекина из итальянской комедии масок, или же его немецкий собрат — Гансвурст. Немногочисленные по количеству актеров странствующие труппы приглашали студентов на второстепенные роли или роли статистов, на что охотно соглашались лейпцигские студенты, так как это был источник их заработка. Иногда студенты выступали в роли сценаристов, поставляя театрам необходимый репертуар, часто являвшийся переделками иностранных пьес. Есть основания предполагать, что с этими труппами поддерживал отношения и молодой Рейтер. Известно, что он принимал участие в качестве исполнителя и в своих пьесах.

Любовь Рейтера к театру во многом объясняет и форму его мести хозяйке гостиницы. В этом не было ничего удивительного по тем временам: нередко к литературным средствам прибегали тогда и в личных целях. И если Рейтер за это жестоко поплатился, то основная причина заключалась, вероятно, не столько в том, что драматург позволил личные нападки, сколько в том, что уже первое произведение его, которому присущи значительные автобиографические черты, все же представляло собой едкое обобщение нравов современного ему немецкого бюргерства. Как это

не раз случалось в мировой литературе, произведение оказывалось шире первоначального замысла художника. Персонажи памфлета перерастали в метко схваченные социальные типы. Уже в первой пьесе Рейтер обращается к одной из основных своих тем, которая будет характерна для всего его творчества,— это тема немецкого «мещанина во дворянстве». В ту пору немецкое бюргерство в своем раболепстве перед сильными мира сего стремилось пока лишь проникнуть в господствующую дворянскую среду, подражая ей в костюмах, нравах, языке. А при дворах и в дворянской среде господствовали французский язык, французские моды и нравы, потому что каждый из карликовых немецких правителей мнил себя абсолютным монархом на манер всемогущего Людовика XIV. Франция считалась средоточием галантности, тонкого, изысканного обхождения и вкуса. Особенно усиливается галломания в Саксонии в пору правления Августа Сильного, который стремился превратить свою столицу Дрезден в подобие Версаля.

Заветным желанием многих немецких бюргеров было стать обладателями дворянского диплома. Однако, продолжая оставаться, в сущности, таким же грубым, ограниченным, бюргерство усваивало светские нравы чрезвычайно поверхностно и в своих претензиях на благородство нередко было смешным. Эту картину, рожденную жизнью, Рейтер и запечатлел в живой и забавной форме в «Честной женщине из Плиссина». Поведение и замашки фрау Мюллер и ее ближних явились благодатным материалом для этого. Хозяйка «Красного льва» была вдовой торговца специями и содержателя гостиницы и имела четырех детей — двух сыновей и двух дочерей.

Семья Мюллер была зажиточной, и ффрау строила поэтому из себя «знатную даму», мечтала купить дворянство. Старший сын ее, Евстахий, подражал знатым кавалерам и позволял себе увеселительные и образовательные путешествия, как барчук; дочери одевались в дорогие платья и ловили, не гнушаясь никакими средствами, благородных женихов; младшего сына мамаша уже в возрасте восьми лет записала в университет и наняла ему репетитора и наставника в светских манерах. Однако очень скоро семья эта обеднела и несоответствие ее притязаний стало тем более смешным.

В комедии «Честная женщина из Плиссина» мы видим точную картину этих нравов.

Сюжет комедии весьма походит на «Смешных жеманниц» Мольера. Безусловно, Рейтер использовал мольеровское наследие — не случайно он признавался на титульном листе, что пьеса — перевод с французского Комедии Мольера были знакомы Рейтеру. С 70-х годов XVII в. они уже ставились на лейпцигской сцене; в 1694 г. в Нюрнберге вышло трехтомное собрание комедий французского драматурга. Однако не следует преувеличивать степень творческой зависимости Рейтера от Мольера. Обращение к сюжету Мольера было вызвано у Рейтера сходными общественными явлениями в жизни Франции и Германии. Ситуация «смешных жеманниц» была типична и для немецкого бюргерского быта этой эпохи. Националистически настроенные исследователи творчества писателя, как, например, И. Шнейдер, видят смысл этой комедии в осуждении Рейтером подражательства французам. По Шнейдеру, Рейтер является носителем добрых немецких нравов. Табак, немецкое вино и густое пиво он

предпочтлал тонким духам и иностранному кофе⁵. За грубоватыми манерами студента, напоминающего ландскнехта, скрывались отзывчивое сердце и цельный немецкий характер. С этих позиций он и критикует немецких смешных жеманниц. Таким образом, согласно Шнейдеру, идеал Рейтера в прошлом. Вряд ли можно согласиться с этой точкой зрения. Гораздо убедительней мнение Г. Йекеля⁶, который в комедии «Честная женщина из Плиссина» видит некую художественную параллель усилиям Томазия, выразившимся в его лекции «Что следует перенять у французов для нашей повседневной жизни?» (1687). Как и последний, Рейтер не отвергает светские нравы и культуру в целом. Если для определенных кругов немецкого общества французская культура ассоциировалась с культурой придворной, то для передовой бюргерской интеллигенции французская культура и нравы — это прежде всего культура народа, объединенного в нацию, это передовая цивилизация.

В комедии Рейтера Шлампампе, комичной в своем тщеславии, и ее дочерям противопоставлены студенты, которые вовсе не стремятся проникнуть в дворянскую среду, однако на самом деле являются истинно благородными, образованными людьми. В противовес вечно ссорящимся между собой мамаше и детям, взаимно оскорбляющим друг друга, студенты отличаются внутренней сдержанностью. Они изысканно выражают свои мысли, используют французский лексикон. Достоинство и благородство человека не в дво-

⁵ См. F. J. Schneider. Christian Reuter. Halle (Saale), 1936, S. 5.

⁶ Reuter Chr. Werke, in 1 Bd. Einleitung. Weimar, 1962,

рянском звании, а во внутреннем моральном достоинстве, в разумном отношении к миру и людям. Рейтер клеймит не передовую культуру, призывая к первобытной отсталости, а полуобразованность разбогатевших выскочек, противопоставляя им идеалы, которые подготавливают эпоху Просвещения; его взор обращен в будущее.

Хотя Рейтер и использовал сюжет Мольера, но пьеса его — творческое освоение лучших драматургических традиций. Он насытил комедию чисто национальным материалом, перед нами живые картины мещанского быта Германии XVII в., персонажи с характерным для них поведением, индивидуальной речью. Это было так живо и верно схвачено, что современники тотчас же узнали прототипы и поняли, в кого метит писатель. Своей комедией Рейтер пролагал пути новой бюргерской драме и скорее близок не столько Мольеру, сколько своему старшему современнику Кристиану Вейзе. В отличие от старого и во многом еще примитивного фарса, характеры которого восходили к шванковой традиции и рисовали устоявшиеся, часто повторявшиеся типы — хитрого крестьянина, обманутого мужа, любопытной и сварливой жены и пр., Рейтер в своей комедии создает образ уже более индивидуализированный и отличающийся значительным социальным обобщением. Вместо фарса о законно наказанной суетной женщине появляется зародыш комедии характеров.

Вторая комедия Рейтера — «Болезнь и кончина честной женщины Шлампампе» («Der ehrlichen Frau Schlammpampe Krankheit und Tod») тематически во многом повторяет первую комедию, но явно ей уступает. В центре ее — неудачная поездка дочерей Шлам-

пампе за дворянским дипломом и огорчения главной героини, приведшие ее к смерти.

К заключительному эпизоду этой комедии примыкает и сатирическая надгробная речь «В память почившей в бозе честной женщины Шлампампе» («Letztes Denk- und Ehrenmal der wieland gewesenen ehrlichen Frau Schlampampe»). Относительно датировки этой речи существуют различные мнения. Одни исследователи считают, что она, вероятно, создана в ноябре 1696 г., вскоре после написания первой комедии, и, может быть, натолкнула Рейтера на мысль разработать впоследствии мотив кончины Шлампампе в отдельной комедии. Эту речь Рейтер, видимо, читал в одном из поместий своих друзей-дворян, куда он отлучился вопреки судебному решению. Другие исследователи относят «Речь» к 1697 г.

По форме своей это задорная пародия на проповедь, полная гротескового народного комизма в духе Рабле или его немецкого последователя Иоганна Фишарта — представителя так называемой «гробьянской» литературы XVI в., тесно связанной с немецкой гуманистической сатирой эпохи Реформации. Произведение Рейтера отличается тем же необузданным грубовато-буффонным юмором, доходящим порой до цинизма, напряженностью языкового стиля. Это — одно из самых остроумных и смелых произведений писателя, проникнутое духом свободомыслия, предвещающее антирелигиозную сатиру Просвещения. Мужество писателя проявилось в том, что «Речь» прозвучала в зовом ортодоксально-лютеранском университете, эпохе, когда еще верили в призраки и сжигали ведьм. Пародийно используя традиционные ритуальные формулы, уже, например, во вступлении — «Во имя всех

«старух!» («In aller alter Weiber Namen!») — речь Рейтера дает нравственно-теологическое толкование стихотворного изречения, составляющего, как правило, основу всякой порядочной проповеди или надгробного слова. Но это отнюдь не библейские стихи, а старый веселый студенческий куплет, который якобы избрала для себя еще при жизни «честная женщина»:

Старые бабы и утки плавают по озеру жизни,
А когда они уже не в состоянии плавать,
Они дают дуба, задирая задницу вверх.

* * *

Разобранные выше произведения раннего Рейтера при всех их новаторских свойствах являются все же подступами к главному и лучшему его созданию — «Описание истинных, любопытных и преопасных странствований на воде и на суше Шельмуфского» (1 ред. — 1696, 2 ред. — 1697) («Schelmuffskys wahrhaftige, kuriöse und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und Lande») — роману, составляющему славу Рейтера и пережившему века. В ранних произведениях писателя еще присутствовали сильные автобиографические черты, им были свойственны слабость композиции, дидактизм. В «Шельмуфском» Рейтер успешно преодолевает эти недостатки, углубляет сатиру на современное общество, создает оригинальный образ, имеющий значительный исторический и общечеловеческий смысл. «Шельмуфский», хотя и сохраняет некоторые намеки на ожесточенные схватки с фрау Мюллер, уже вовсе не нуждается в подробных биографических комментариях и может быть легко понят без них как самостоятельное произведение, где фак-

ты жизни подняты до степени художественного обобщения. Не случайно университет в своем донесении Августу Сильному от 29 декабря 1699 г., перечисляя все произведения Рейтера, позорившие семью Мюллер, ни словом не упоминает «Шельмуфского».

При всей кажущейся простоте роман Рейтера — многоплановое и сложное произведение, впитавшее в себя самые разнообразные творческие традиции.

Прежде всего Шельмуфский и его «истинные, любопытные и преопасные странствования» — продолжение темы «мещанина во дворянстве», развитие образа Шлампампе, но на более высоком творческом этапе. Как ни в одном из своих прежних произведений и как никто до него в немецкой литературе, Рейтер показал резкое и комическое несоответствие стремлений, претензий немецкого бюргера стать дворянином и его истинную неприглядную сущность. Если верить Шельмуфскому, то он — «благородный молодой человек, в глазах которого светится что-то необыкновенное». Нет ни одной дамы, которая не пала бы к его ногам и не стремилась бы удостоиться чести стать его супругой. Нет ни одного поединка, в котором он не одержал бы победу, и притом зачастую над превосходящим его силами противником; где он ни появляется — в Швеции, Голландии, Англии и пр., — все поражаются его изысканному обхождению, галантности, умению вести светскую беседу, образованности; он постоянно встречается лишь со знатными особами — графами, лордами и даже самим Великим Моголом; он разъезжает в каретах и экипажах; ему предлагают посты инспектора Совета дождей в Венеции, рейхсканцлера императора Индии; он сведущ в искусствах и науках (музыка, танцы, поэзия, матема-

тика, астрономия, фортификация); он много видел и побывал в самых различных странах. Одним словом, это истинный кавалер, который предпринял, как это было и заведено в дворянских кругах, образовательное и увеселительное путешествие. Однако на самом деле это такой же грубый и неотесанный мещанин, как и его мамаша, скорей даже крестьянский парень, воображающий о мире и людях то, что ему представляется высшими формами жизни. Его безудержная фантазия превращает бродячего собутыльника, такого же прощелыгу, как и он сам, в графа; потаскушка становится обаятельной мадам Шармант; очередное избиение героя или его драка — мужественной дуэлью или сражением, а путешествие по трактирам и пивным — блестящим вояжем, хотя в действительности он и за милю не удалялся от родного места. Его светские беседы ограничиваются рассказом об его удивительном рождении и истории с крысой. Его образование поистине не выходит за пределы весьма сомнительных знаний четырех действий арифметики по учебнику Адама Ризена. Его географические познания выдают с головой каждый раз невежду и краснобаю, он завирается, и каждый раз анекдотически: наемный фургон прямо перевозит его из Лондона в Гамбург; в Венеции, расположенной на высокой скале — великая сушь; Падуя находится в получасе ходьбы от Рима; а сам «вечный город» окружен зарослями из тростника. Тибр же славится сельдями, совершенно отсутствующими в Гамбурге и Швеции, и пр. и пр.

Это лентяй и трус, который каждый раз находит благовидное оправдание полученным оплеухам и в минуту опасности предпочитает скорей спасти собственную шкуру, чем ближнего, как в случае с Шар-

мант. За пышные приемы в его честь этот обжора и пропойца способен отплатить лишь свинским поведением, которое на деле каждый раз опровергает его бахвальство воспитанностью и учтивостью. Жизненной основой комизма образа Шельмуфского является, следовательно, разительный контраст между притязаниями немецкого бюргера и его убогим обликом. Это противоречие и порождает в книге сатирический образ самонадеянного вряля и хвастуна, одного из предшественников прославленного Мюнхгаузена.

Но роман не только сатирическое разоблачение смешных потуг немецкого бюргерства, жалкой и смешной фантазии жалкого человека. В нем заложено более широкое содержание. Это сатира на время, на век, на пережившую себя старую дворянско-феодалную культуру и представителей господствующего сословия. Именно в этом смысле «Шельмуфский» углубляет критику немецкого общества, начатую Рейтером в его комедиях. Ведь этими галантными приключениями, придворными празднествами, прогулками кавалеров, операми и торжественными приемами увлечен гробианский дурачок, и тем самым через его поведение и восприятие этот «блестящий свет» выставлен на всеобщее осмеяние. Как ни буйна фантазия Шельмуфского, она, в сущности, порождена жизнью. Непомерно хвастаясь и невольно непрерывно уличая самого себя во лжи, Шельмуфский тем не менее говорит истинную правду: ведь именно такими самоуверенными и невежественными, внешне галантными и изящными, а в действительности ведущими паразитический и скотский образ жизни и были высшие сословия в то время. Здесь напрашивается параллель с «Симплициссимусом» Гриммельсгаузена. По-

добно тому как в его романе безумец, вообразивший себя Юпитером, сошедшим с Олимпа на землю, справедливо и сурово обличает социальную несправедливость в Германии эпохи Тридцатилетней войны, так и у Рейтера хвастун, враль и фантазер доказывает правду, ибо понять эту жизнь может только безумец, а идеалом в ней уже является хвастливый олух. Таковы парадоксы отмирающего века. Рейтер уже не воспринимает серьезно придворную культуру и намеренно доводит ее изображение до абсурда, так как ведь комическое — последний акт всемирной истории.

Здесь мы подходим к литературным корням образа п романа и своеобразию созданного писателем типа. Образ непомерного хвастуна и враля не нов в мировой литературе. В фольклоре разных народов издавна существовали забавные рассказы об этой человеческой слабости. Богата ими была и немецкая народная поэзия. В эпоху средневековья и Возрождения в Германии бытовали песни, шванки и народные книги о поразительных врялях. Такова, например, серия шванков из «Фацетий» Г. Бебеля (1500—1512), рассказывающая о кузнеце из Каннштадта, прозванного даже «кузнецом лжи». Самые необыкновенные истории происходят с этим фантазером. Однажды он настолько примерз к седлу во время страшных холодов, что, по его словам, его невозможно было отодрать от седла и пришлось тащить к печке. В другой раз он провалился в прорубь вместе с лошастью, но не растерялся и прошел подо льдом с лошастью по дну реки на другой берег, прорубив себе выход копьём. Как впоследствии барон Мюнхгаузен, он въехал в неприятельский город на разрубленной пополам лошади, вывернул волка наизнанку и т. и. В сборнике шванков

И. Викрама «Дорожная книжечка» (1535) также встречается тип такого бахвала, «рассказывавшего об ужасных сражениях мечом, которые ему пришлось выдерживать. Невозможно передать, сколько он пролил крови. Но, по моему мнению, добавляет от себя автор, дело шло лишь о пролитии крови кур, гусей и уток»⁷. Совсем как наш Шельмуфский!

В этой связи следует вспомнить и народную книгу «Рыцарь-Зяблик» (ок. 1560), в которой выступает хвастун-рыцарь, напоминающий будущего Мюнхгаузена.

Шельмуфский явно восходит к этой давней традиции народной «литературы о врялях» (*Lügenliteratur, Lügendichtung*). Роман Рейтера — продолжение этой линии. Однако его существенное отличие состоит в том, что наивные рассказы о хвастовстве, самомнении и вранье Рейтер поднимает до степени социального обобщения. Его герой — это, так сказать, враль и бахвал социального масштаба. Общечеловеческое наполняется здесь конкретным историческим содержанием.

Интересно поэтому сопоставить Шельмуфского с образами хвастуна в барочной драматургии его времени, например, с Хоррибиликрибрифаксом в одноименной комедии А. Гриффуса (1663). Персонаж Гриффуса и ряда других барочных драматургов отчетливо восходит к хвастливому воину, Пиргополинику Плавта. XVII век — век разорительной Тридцатилетней войны сделал, естественно, своего героя хвастливым офицером, в образе которого осмелы заносчивость и безделье дворян-военных. Но во многих комедиях и, прибавим, барочных романах этому хвасту-

⁷ «Deutsche Schwänke». Weimar, 1963, S. 156.

ну-дворянину противопоставляется образ дворянина идеального, потому что для Грифиуса и других барочных писателей придворная жизнь, образ идеального аристократа еще сохраняли свою ценность. У Рейтера мы этого не встретим. Его хвастун уже не офицер, да и не дворянин, а бюргер крестьянского происхождения. И главное, Рейтер лишен иллюзий относительно придворного идеала. Поэтому никакого утверждения добродетельных дворян в противоположность «плохим» у него нет. Разоблачение придворного общества, его культуры и нравов происходит у Рейтера не путем внешнего противопоставления Шельмуфскому положительного героя, а изнутри, путем саморазоблачения Шельмуфского. Роман обличает «видимость», «фальшь», а норма, по которой измеряется поведение Шельмуфского, это уже не формы придворной жизни, а здравый смысл самого читателя. В этом обращении к разуму человека, в трезвом понимании иллюзорности идеалов старого общества Рейтер опять-таки предвестник Просвещения.

Осваивая художественные достижения пародной и в том числе современной ему барочной литературы, он наполняет их новым содержанием, ставит на службу новым задачам. Таковы вообще взаимоотношения романа с современной ему литературой XVII в., в частности, с прециозным романом и романом плутовским. Давно уже замечено, что «Шельмуфский» является литературной пародией на галантно-авантюрный роман аристократического барокко, представленного творчеством Ф. фон Цезена, К. фон Лоэнштейна, Антона Ульриха Брауншвейгского и др., на эти условные, очень далекие от жизни произведения, вычурные по своему стилю, ситуациям и персонажам и при-

званные идеализировать мир высших сословий. Этой литературе противостоит роман писателя-демократа Рейтера. Совершенно справедливо замечает по этому поводу Б. И. Пуришев: «Посмеиваясь над вымышленными, неправдоподобными деяниями Шельмуфского, автор намеренно придает им очертания, заимствованные из арсенала прециозного романа. По воле рассказчика действие неизменно переносится в различные иноземные, в частности, экзотические страны ...Шельмуфский всегда хочет изумить читателя. Буря на море, кораблекрушение, нападения пиратов, поединки, любовные сцены, говорящие призраки, картины роскошной жизни, сладкогласные сирены, капризы фортуны, галантные письма и мадригалы, высокопарные тирады, милость монархов, чудеса храбрости, благородства и куртуазности — как в самом доподлинном прециозном романе уснащают страницы «Шельмуфского» ...Шельмуфский является как бы последним (только, конечно, бурлескным) воплощением героя прециозного романа, подобно тому как знаменитый Дон Кихот был последним (и тоже бурлескным) воплощением Амадиса Галльского»⁸. Таким образом, высокая патетика прециозного романа снижается, переводится в прозаически бытовую сферу и тем самым рождается новый реалистический роман. Важно, однако, подчеркнуть, что литературная пародия не является самоцелью писателя, она рождается органически и как бы произвольно: осмеяние немецкого мещанина во дворянстве и становящейся призрачной, лишенной всякого значительного содержания

⁸ Б. Пуришев. Очерки немецкой литературы. М., 1955, стр. 376—377.

ния культуры феодальной аристократии, естественно, ведет за собой и обращение к пародии.

Это снижение происходит у Рейтера за счет обращения его к традициям буффонного юмора народной литературы шванков и «гробьянской» литературы. Рейтер как бы воскрешает эти традиции в новых целях. Однако его роман не просто собрание народных анекдотов об одном герое. Комизм шванка, как правило, большей частью — комизм ситуаций, и он может восприниматься и вне определенного героя. Это именно анекдот. В «Шельмуфском» истории сами по себе не смешны да, в конце концов, их не так уж много, порой они даже повторяются. Комизм здесь исходит от героя: смешны не эпизоды, а то, как отражается мир и жизнь в мозгу этого шалопа; смешно противоречие между его истинным положением и стремлением возвысить себя в богатстве, сословии, образовании. Акцент, следовательно, падает в романе на героя. Рейтер создает определенный характер, социально типичный, и он скрепляет произведение, придает ему целостность. Повторение сходных ситуаций, эпизодов не утомляет читателя, потому что герой психологически интересен; каждый раз он как бы предстает в другом освещении, выявляются его разнообразные стороны.

Поэтому вранье и хвастовство Шельмуфского несколько иного свойства, чем в народной литературе о лжецах. В шванках, народных песнях, в «Рыцаре-Зяблике» комизм лжи — это наивный комизм несурезица, логически невозможного. Подобного рода комизм восходит к давней традиции народной смеховой карнавальной культуры в разных странах, в том числе и в Германии. Для этой смеховой культуры очень

характерна своеобразная логика «обратности» (à l'envers), «наоборот», «наизнанку». Мир народной культуры строится как пародия на обычную, то есть внекарнавальную, жизнь, как «мир наизнанку»⁹. В этом походе против логики обычных отношений и понятий выразился своеобразный дух протеста народных масс, их неистребимый оптимизм и стихийно-философское восприятие действительности. Этому явлению обязана своим возникновением немецкая «литература о глупцах» (Narrenliteratur), к которой близок по общей своей направленности комизм литературы о лунах. Так, например, в «Рыцаре-Зяблике» рассказывается о том, как герой залезает через пчелиную щель внутрь дуба, чтобы выбрать мед, отложенный там пчелами. Ужаленный ими, он хочет вылезти обратно, но щель стала очень мала: он бежит домой, берет топор, срубает дерево и вылезает снизу. Поэтому автор народной книги любит нагромождения противоречащих, взаимоисключающих определений: «Прекрасная, белая, зеленая, иссохшая, покрытая высокой, низкой травой лужайка». На таком комизме построена и знаменитая народная книга о шильдбюргерах — бестолковом народе.

В книге Рейтера встречается порой и подобный комизм «мира наыворот». Вспомним историю удивительного рождения героя или рассказ его о «личной певице» Великого Могола, которая пела арию о пурпурных очах и черных ланитах; впрочем, это также пародийный выпад против шаблонной галантно-эротической поэзии немецких прецедентников, возможно,

⁹ М. Б а х т и н. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965, стр. 14.

против поэтов Второй Силезской школы (см. прим. 3, стр. 208). Но в романе Рейтера невероятен не мпр. противоречащий здравому смыслу, а невероятно хвастовство и вранье невежды и невоспитанного человека. Это превратность не мира, а превратность самого характера. Отсюда роман пропизывает гротесковая гипербола, вскрывающая объективное несоответствие внешности и сущности героя.

Несомненно, это своеобразие романа Рейтера свидетельствует о том, что он прошел плодотворную школу плутовского романа, оказавшего значительное влияние на становление нового европейского романа. Начиная с 1615 г., когда в Германии впервые было переведено одно из лучших произведений этого рода — «Гусман из Альфараче» Матео Алемана, немецкий книжный рынок в скором времени оказался буквально наводненным плутовской литературой, которая оказала влияние и на великого предшественника Рейтера — Гриммельсгаузена. Именно в плутовском романе цепь пестрых эпизодов объединяется определенным восприятием слуги-плута. С плутовским романом «Шельмуфского» сближает многое: мемуарная форма повествования от первого лица; безыскусная хронологическая последовательность событий, начиная с рождения героя, так называемая «нанизывающая» композиция; превратная, подчиненная случаю судьба странствующего героя из низов общества, сегодня богатого, а завтра — голодного и раздетого. Наконец, комизм явлений физиологического свойства. Но последний объясняется во многом влиянием немецкой гробьянской литературы, хотя у Рейтера этот комизм все же более умерен и не становится самоцелью.

И тем не менее многое отличает произведение Рейтера и от плутовских романов. Шельмуфский отнюдь не хитрый, деятельный мошенник, ловкач, извлекающий выгоду из своих проделок, а довольно безобидный, хотя и очень смешной хвастун. Он деятелен лишь в своем воображении. Он даже чрезвычайно наивен в своем неумном стремлении казаться кавалером. Это самозабвенный враль, и чем больше мы знакомимся с его похождениями, тем более он поражает нас каким-то простодушием. Поэтому в книге господствует не столько саркастический смех плутовского романа, сколько юмор, который лишает книгу мрачного пессимистического взгляда на жизнь, присутствующего в каждом плутовском романе. Рейтер добродушно смеивается над своим краснобаем, и в смехе его чувствуется своего рода симпатия к этому поэту вранья и хвастовства, которого он наделил искренностью и непосредственностью. В книге Рейтера живет также вечно юная фантазия сказок, небыллиц, удивительных случаев, напоминающая чувство, которое мы испытываем, слушая хвастливые истории охотников и рыболовов. Таким образом, юмор Рейтера многозначен: в нем отражены и жизнерадостный темперамент самого поэта, и ранняя ступень немецкой сатиры, которая в то время еще не дошла до вершин своего ожесточения; и, наконец, тот исторический оптимизм, который подготавливал век Просвещения. Поэтому в романе Рейтера, продолжающем ту же линию немецкой обличительной литературы, которая представлена произведениями Грифиуса, Логау, Мошероша, Гриммельсгаузена, уже отсутствует трагический оттенок века барокко. Ни кошмарных видений, ни мистики, ни напряженной динамики страстей, ни бегства на необи-

таемый остров как реакции на хаос жизни мы уже не встретим. Это предвестник новой эпохи.

Похождения плута, встречи его с жизнью в пикаресном романе постоянно сопровождаются морально-дидактическими размышлениями и назиданиями. В «Шельмуфском» отсутствует и это. Если в комедиях устами положительных героев Рейтер еще комментировал действие и прямо вмешивался в него, формулируя свою идею, то в «Шельмуфском» она нигде прямо не излагается. Эта идея вытекает из всего конкретного материала — бытовых зарисовок и развития событий, а главное — благодаря типичному, жизненно верному изображению героя. Автор скрыт за ними, идея теснейшим образом сливается с формой произведения, в центре которого — характер. Это одно из самых важных завоеваний Рейтера, которому суждено было дать богатые плоды в дальнейшем развитии романа. Разумеется, характер Шельмуфского еще пока статичен, Рейтер явно уступает и плутовскому роману, и «Симплициссимусу» Гриммельсгаузена в широте изображения жизни и философичности.

Тесное слияние идеи произведения с формой его особенно проявляет себя в стиле романа и прежде всего в речи главного героя. Подобно тому как Шельмуфский необычайно глуп и в своем стремлении слыть изысканным дворянином доходит до бессознательной наглости, точно так же примитивно и развязно выкладывает он свои фантазии. Формулообразные обороты, галантные обращения постоянно перебиваются грубым просторечием, иностранные слова соседствуют с проклятиями и бранью; в светски равнодушный тон речи вклиниваются обороты речи обиходной, многочисленные пословицы, идиомы, поговорки; его

немецкий язык сильно окрашен диалектально — он близок к верхнесаксонскому диалекту в окончаниях, синтаксисе, лексике. В сочетании возвышенного с низким в речи Шельмуфского, как и в самом противоречивом облике хамоватого кавалера, еще явно ощущаются следы барочной эстетики, с которой связан Рейтер: это комические, гротесковые гримасы, диссонансы переходного века.

Но именно поэтому речи Шельмуфского никак нельзя отказать в живости и картинности. Он как будто повествует о давно прошедшем, но, рассказывая, так непосредственно переживает все вновь, что прошлое становится настоящим, а эпический рассказ чуть ли не перерастает в драматическое действие. В повествовании господствует стихия устной речи, народного сказа. Эта демократическая речевая стихия, как и весь роман, противостояла современной Рейтеру аристократической, прециозной литературе, обращенной к узкому кругу образованных читателей. В легкости и краткости, сказовой живости повествование «Шельмуфского» превосходит плутовские романы, в которых порой тоже господствует сказ, ослабляемый, однако, нередко весьма пространном назидательным красноречием.

Открытая, нанизывающая эпизоды композиция «Шельмуфского» больше обусловлена характером героя, чем подобная же композиция в плутовском романе. Она испытала также влияние не менее популярной в то время литературы о путешествиях (Reiseliteratur). Паломничества к «святым местам» и особенно великие географические открытия, неизмеримо раздвинувшие рамки представлений о земле, способствовали появлению произведений такого рода. Тридцати-

летняя война вызвала ощущение неуверенности и усилила стремление искать счастья за рубежами родины. В этих произведениях правда нередко перемешивалась с вымыслом. В них рассказывалось о заморских странах и их несказанных богатствах, о морских приключениях и волнующих сражениях, о блестящих приемах при дворах иностранных властителей, о диковинной фауне и флоре. Любовь к рассказам о дальних путешествиях была настолько велика, что рассказчик нередко получал специальное вознаграждение за свое повествование. Старинные хроники сообщают, что к «почтенным путешественникам, повидавшим семьдесят две страны», нередко присоединялись «лентяи-подмастерья», которые «не желали ни косить, ни жать, ни вообще работать»¹⁰, они рассказывали самые невероятные вещи «о дальних странах, в которых никогда не бывали... хвастались тем, чего и вполонину не испытали». Впрямь как Шельмуфский! Уже в «Фацетях» Бебеля встречается герой, который объездил всю Венецию верхом, а Меландер в сборнике шванков «Забавы» («Jocoseria») рассказывает об одном врале-путешественнике, который побывал в 50 знаменитых городах мира, и притом по полтора года в каждом, хотя к моменту его рассказа ему тридцать девять лет.

В какой-то степени роман Рейтера пародия и на этот род литературы, но форма излюбленных в то время описаний путешествий служит писателю в первую очередь композиционным средством для того, чтобы выявить сущность своего героя. Это не просто путешест-

¹⁰ См. C. Müller-Frauenreuth. Die deutschen Lügendichtung en bis auf Münchhausen. Halle, 1881, S. 34—35.

венник, а хвастающийся путешественник. Пародия же и здесь возникает органически, исподволь, но она вовсе не главная цель повествования.

И поскольку невежественному хвастовству и вранью Шельмуфского удержу нет, то композиционная форма свободной импровизации, когда каждый нанизываемый эпизод свободно и неожиданно изобретается, следуя полету фантазии автора, является лишь по видимости выражением поэтической небрежности (за что Рейтера порой упрекали критики), на самом же деле это — глубоко продуманный художественный прием.

И все же не следует переоценивать композиционного искусство Рейтера, связанного еще прочными нитями со старыми литературными традициями, наивными методами организации художественного материала. Читатель ясно ощущает композиционную скомканность конца романа, внезапно обрывающегося, словно и автору уже надоел этот калейдоскоп эпизодов. Видимо, он не знал, чем закончить роман. Успех Рейтера сосредоточить внимание на характере героя, при еще сохраняющейся его статичности, пришли в противоречие с архаичной композиционной техникой; органического развития характера изнутри, тесных его связей со средой и глубокой мотивированности ею нет и, следовательно, не может быть и достаточно убедительного, логического завершения произведения.

Таким образом, в сложном взаимодействии с современным ему искусством XVII в., в восприятии и полемике с народной литературой, гроблянскими произведениями, романом плутовским и галантно-героическим, описаниями путешествий рождался этот оригинальный реалистический роман, пролагавший пути реалистическому роману XVIII в. Поэтому трудно согласиться с

мнением В. Гехта, отрицающим влияние каких-либо литературных образцов на произведение Рейтера¹¹.

* * *

«Шельмуфский» был зенитом творчества Рейтера. После создания этого романа его творчество переживает упадок. Причиной этого было не оскудение дарования, а неблагоприятные, даже трагические общественные условия, погубившие художника.

Бесконечные жестокие преследования закрыли ему путь к завершению образования и к карьере. Ученые университета видели в нем только пасквильанта; отсталое бюргерство считало себя задетым, оскорбленным его произведениями. И только студенты, которым он посвятил свою первую комедию, принимали его восторженно. Но этот круг был слишком узок, чтобы обеспечить Рейтеру материальную и духовную независимость.

И он, произведения которого нанесли ощутимый удар феодальному дворянству и его культуре, вынужден был теперь искать покровительства у знати! Это обстоятельство не могло остаться без последствий для его творчества: обличительная сила его снижается.

Уже до окончательного исключения из университета он, видимо, нашел знатных покровителей. Поэтому после приговора Рейтер обратился к Августу Сильному с прошением аннулировать решение университетского суда. И хотя университетское начальство противилось этому, все же приговор был отменен высочайшим указом. В апреле 1700 г. он стал секретарем

¹¹ См. Chr. R e u t e r. Schelmuffsky. Abdruck der Erstaussgaben (1696—1697) im Paralleldruck. Halle, 1956, S. VI.

влиятельного камергера фон Зейфердитца и, обеспечив себе безопасность, мог снова расправляться со своими врагами, в частности, с адвокатом Геце, которого он вывел в лице пьянчужки Иньюриуса (Injurius — противозаконник) в новой комедии «Граф Эренффрид» («Graf Ehrenfried»), которая была представлена 13 мая 1700 г. вопреки всем протестам и жалобам Геце, ибо была напечатана с разрешения курфюрста.

Факты последних лет жизни Рейтера неизвестны. Очевидно, он уехал из Саксонии, потому что через три года он оказывается в числе поэтов при дворе прусского короля. Неясно, что послужило причиной его отъезда из Дрездена, надо полагать, все та же безвыходность положения, а может быть, и продолжающиеся преследования. В Пруссии он обращается к поэзии, но это жалкая «поэзия на случай». Трудно узнать в этих стихах прежнего Рейтера. Он превращается в льстивого, типичного придворного поэта, славит «ликующую Шпрее», т. е. ликующий Берлин, имеющий счастье приветствовать Фридриха I, недавно ставшего королем Пруссии; он воспекает вторую годовщину его коронации и прочее в таком же роде. В этих стихах совершенно исчезла задорная веселость Рейтера, его драгоценное искусство бытописателя, яркий индивидуальный стиль. Их место заступает традиционная выпренность барочной поэзии, низкопоклонство придворного рифмача, приторная слащавость мифлогического маскарада; и, быть может, трагически ощущая временами свое падение, он обращается в 1708 г. к евангельским религиозным мотивам и создает стихотворный текст для оратории на тему страстей Христовых.

Среди произведений этого второго периода, после

создания «Шельмуфского» выделяется комедия «Граф Эренффрид». Прототипом главного героя послужило реальное лицо — Георг Эренффрид фон Люттихау. Этот придворный, несмотря на расстроенные финансы, жил на широкую ногу и был в долгу как в шелку. Являлся ли он действительно графом — неизвестно. Достоверно лишь одно: над ним бесконечно потешались придворные во главе с курфюрстом; по существу он играл роль придворного шута. Поэтому комедия об Эренффриде была благосклонно принята при дворе. Ею Рейтер в известной мере уже шел навстречу желаниям придворной публики, искавшей развлечений. Но даже в этой комедии, отдававшей дань вкусам двора, верноподданничеству, еще можно почувствовать, каким могучим сатирическим талантом обладал Рейтер.

Граф Эренффрид — еще один образ человека, живущего в мире фантазии, стремления которого разительного противоречат его действительному положению. Он требует, чтобы каждый величал его «Его Светлостью и высокографской Милостью», он держит себя как независимый суверен. На самом же деле это — Дон Кихот придворного мира кавалеров. Ибо у него нет главного — денег. Поэтому он не имеет собственного дома, а снимает квартиру, которую не в состоянии оплачивать. Кредиторы осаждают его постоянно, хозяйка угрожает выселить, вещи графа, в том числе и графская постель, уплывают в качестве залогов к ростовщику. Вместе со своей свитой он спит на полу грязной комнаты. Своим слугам он давно не выплачивает жалованья, они голодают, носят рваные ливреи; некоторые из них удирают. А он тем не менее не желает отказаться от свиты. Судорожно поддерживает он видимость дворянского образа жизни.

Таким образом, эта пьеса рисует трагикомическую картину полного упадка дворянства. Во многих отношениях она перекликается с основной темой творчества Рейтера: он постоянно вскрывал фальшь, мишурность, видимость уходящего в прошлое мира. Фигурально выражаясь, можно сказать, что все его произведения, начиная с «Честной женщины» и кончая последней комедией, так сказать «Шельмуфскиада», сатирическая отходная пережившему себя обществу. Поэтому роман «Шельмуфский», где эти тенденции нашли свое наиболее полное выражение, по праву — центральное произведение Рейтера. Отсюда непонятно недоумение такого большого знатока творчества Рейтера, как В. Гехт, который не видит причин, почему Рейтер избрал в герои своего романа именно Шельмуфского. Ведь он как будто не принадлежал к числу его прямых врагов? ¹²

В прототипе Шельмуфского, сыне фрау Мюллер — Евстахии, с его страстью к путешествиям и желанием играть роль знатного кавалера, Рейтер, по всей вероятности, почувствовал богатые возможности для обобщения важного явления, а вместе с тем отпала потребность в личной мести. Фигура Евстахия-Шельмуфского оказывалась наиболее подходящей. Поэтому Рейтер шел к своему излюбленному образу постепенно, пока этот образ не откристаллизовался в его творческом сознании достаточно ясно; в обеих ранних комедиях он уже выступает, хотя и играет побочную роль. Мысль о Шельмуфском не покидает писателя и в опере «Синьор Шельмуфский», пока, наконец, не

¹² См. Chr. R e u t e r. Schelmuffsky. Abdruck der Erstausgaben (1696—1697) im Paralleldruck. Halle, 1956, S. VI.

рождается роман, полностью посвященный этому герою.

В «Шельмуфском» Рейтер создал тип — тип хвастуна и враля. Здесь, естественно, напрашивается параллель с пресловутым его соперником, бароном Мюнхгаузеном, приключения которого талантливо изложены немецким просветителем Г. А. Бюргером (1786). Бюргер был одним из немногих немецких писателей этого века, который отлично знал «Шельмуфского» и даже владел редким экземпляром издания этого романа. Давно установлено, что «Шельмуфский» оказал значительное влияние на «Мюнхгаузена» Бюргера, одно заглавие которого — «Необычайные странствования на воде и суше, походы и забавные приключения барона Мюнхгаузена» — напоминает заглавие романа Рейтера. «Шельмуфского» и можно считать одной из ранних «мюнхгаузнад». При явном сходстве типов героев нельзя не ощутить существенного их различия, выраженного очень наглядно в разном тоне повествования. Мюнхгаузен на всем протяжении рассказов сохраняет тонкий, учтивый и в общем серьезный тон «образованного», воспитанного человека, который порой, позволяя себе даже слегка пошутить и с высокомерной небрежностью отменяя обвинения в лживости его историй, тем не менее нагромождает чудовищные по невероятности вещи. Нередко он прямо хвастает, а большей частью его бахвальство принимает позу ложной скромности. Тон книги Бюргера — едкая ирония. Это, так сказать, респектабельный враль, а потому и более опасный. В конце XVIII в., когда немецкое бюргерство вступило в более высокий этап освободительного движения и немецкое Просвещение набирало силу, устремления немецких писателей со-

средоточились на сокрушении устоев феодального общества. Поэтому хвастуном выступает теперь дворянин, и насмешка над его преувеличенным самомнением и тщеславием становится едкой.

Многие истории «Мюнхгаузена», вроде того, как он вывернул волка наизнанку, убил зайца о восьми ногах,— это тот же народный композ «мира наизнанку», который широко использовал Бюргер.

Шельмуфский Рейтера — характер более наивный, и в книге, как мы видели, господствует буффонный бурлескный юмор. Некоторые немецкие исследователи сопоставляли Шельмуфского и с Дон Кихотом. Как и Дон Кихот, он живет в мире, созданном его фантазией, как и Рыцарь Печального образа, он неисправим в своих грезах, но Шельмуфский лишен не «такта действительности», понимания века, а такта собственных возможностей. Как тип он субъективнее Дон Кихота, которому в качестве художественного создания он, конечно, безмерно уступает. В этом типе есть что-то напоминающее Хлестакова, это, так сказать, немецкий Хлестаков XVII в.

* * *

В восприятии Рейтера, и в первую очередь его «Шельмуфского», нашли отражение вкусы и потребности различных эпох.

В XVIII в. с его культом рационализма, просветительского скепсиса по отношению к прошлой истории человечества, которую многие деятели этого столетия были склонны рассматривать как царство невежества, Рейтер и «Шельмуфский» были почти забыты, как чуть ли не вся литература XVI—XVII вв. Правда,

в 1750 г. вышло модернизированное издание романа и появилось несколько подражаний ему, из которых ни одно не достигает талантливости и глубины оригинала¹³.

Истинным продолжением традиций Рейтера являлись, как указывалось выше, «Удивительные приключения Мюнхгаузена» Г. А. Бюргера. Знал «Шельмуфского» и учитель Бюргера, выдающийся немецкий сатирик Лихтенберг. Литературным наследником Рейтера следует, конечно, считать и Кр. Март. Виланда, автора сатирического романа «История абдеритов» (1774). В сатире Виланда нет непосредственного влияния «Шельмуфского», неизвестно, был ли он вообще знаком писателю. Но едкая картина убожества немецкого бюргерства, нарисованная Виландом,— достойное продолжение линии Рейтера в немецкой сатирической литературе XVIII в. Абдериты, этот жалкий народец, отличающийся непомерным чревоугодием, кичащийся своим тонким художественным вкусом, грандиозными прожеками, носящийся со своими мелочными де-

¹³ И. Страницкий. Описание веселого путешествия из Зальцбурга в различные страны (J. Stranzky. Lustige Reuß-Beschreibung aus Saltzburg in verschiedene Länder, 1717); «Немецкий Робинзон, или Бернгард Крейц, то есть удивительное жизнеописание одного испорченного юноши... Халь в Швабии, 1722» («Der Teutsche Robinson, oder Bernard Creutz. Das ist eines übelgearteten Jünglings seltsame Lebens-Beschreibung... Hall in Schwaben 1722»); «Истинное и любопытное путешествие Шельмуфского в Берлин с некоторыми достоверными галантными приключениями. Издано в Шельмероде и Амстердаме, anno 1792» («Schelmuffskys wahrhaftige und küriose Voyage nach Berlin, mit etlichen wahren galanten Abenteuern an den Tag gegeben. Schelmerode und Amsterdam, anno 1792»).

лами,— это многократно расплодившиеся шельмуфские.

Настоящий культ «Шельмуфского» возникает в первой половине XIX в., в эпоху романтизма. Романтики много сделали для пробуждения интереса к народному творчеству, старинной немецкой литературе. Особенно увлекаются «Шельмуфским» гейдельбергские романтики — И. Арним, бр. Брентано, И. Геррес, бр. Гримм, Эйхендорф. Они часто обращаются в переписке друг к другу «Bruder Graf», шутливо употребляют проклятия Шельмуфского, называют своих друзей «Шельмуфским». Познакомившись с романом через К. Брентано и И. Арнима, братья Гримм в 1823 г. осуществили издание «Шельмуфского», вышедшее в Касселе. И не только в переписке, но и в произведениях гейдельбергских романтиков, в их еженедельнике «Газета для отшельников» всюду можно встретить те или иные реминисценции из романа и подражания ему, его стилю.

Пробудив интерес к роману Рейтера, они все же не поняли его действительного содержания и воспринимали его именно в романтическом духе. Шельмуфский с его невероятной фантазией — образец «свободы духа», романтической иронии, потешающейся над узколобым филистерством. Поэтому Клеменс Брентано в сатире на филистерство — «Филистер в прошлом, настоящем и будущем» (1809) — считал одним из решающих признаков филистерства непонимание «Шельмуфского». Показательны в этой связи попытки обработки мотивов «Шельмуфского» романтиками.

Так, например, Кристиан Брентано намеревался создать целый цикл пьес о Шельмуфском, в которых он должен был выступать в различных обликах — пи-

сателя, фермера, солдата и пр. В погоне за своим идеалом он страдает от противоречия между его высокими стремлениями и комически порочной действительностью и, в конце концов, обретает покой, становясь отшельником. И. Арним в новелле «Три архиглупца» (сборник «Зимний сад») также создает романтизированный образ Шельмуфского, вернувшегося обратно из Индии в Гамбург. Его бывшая любовница Шармант теперь его не признает, а хозяин гостиницы, оказывавший прежде ему почести, предлагает ему место дворовой собаки. И Шельмуфский напрасно ждет, когда кто-нибудь пожертвует ему приличное платье и он вновь отправится к Великому Моголу.

После исследования Фр. Царнке в 80-х годах появляется много изданий романа. Однако следует отметить, что изучение творчества писателя до сих пор ограничивается только лишь отдельными статьями, число которых не очень велико; пока еще не существует ни одной современной монографии, посвященной его творчеству, как и современного полного критического издания его произведений.

Книга Рейтера давно стала в Германии популярной народной книгой. Неоднократно издавалась она в ГДР. На русский язык это классическое произведение немецкой литературы переводится впервые ¹⁴.

¹⁴ Небольшой отрывок из «Шельмуфского» был опубликован в «Хрестоматии по западноевропейской литературе XVII века», сост. Б. И. Пуришев. М., 1940.

ПРИМЕЧАНИЯ

Так как Рейтер выпускал свои произведения под псевдонимами или анонимно, имя автора «Шельмуфского» долгое время оставалось неизвестным. Теодор Германн в 1855 г. в статье «Литературные бои и сатиры в XVIII веке»¹ впервые расшифровал, кто скрывается под псевдонимом «Хилариус». В 1858 г. Эмиль Веллер доказал, что автор «Шельмуфского» — Кристиан Рейтер. Но эти открытия остались без внимания.

Основная заслуга открытия Рейтера принадлежит лейпцигскому германисту Фридриху Царнке, который исследовал лейпцигские архивы и в 1884 г. опубликовал большое исследование «Кристиан Рейтер, автор «Шельмуфского». Его жизнь и произведения»². Затем на протяжении последующих пяти лет Царнке издал ряд новых работ, посвященных более частным проблемам творчества и биографии Рейтера.

Роман «Шельмуфский» существует в двух редакциях. Первая — редакция А — была найдена Царнке и состоит из семи глав, составляющих в основном содержание первой части романа. Единственный сохранившийся экземпляр этой редакции имеется ныне в библиотеке города Готы.

Вторая редакция — редакция В — более разработанная, содержит 8 глав первой части и 5 глав второй части. Заключительные фразы в первых частях обеих редакций намекают на вторую часть, но она дошла

¹ «Literarische Fehden und Satiren des 18. Jahrhunderts 2». — «Deutsches Museum», hrsg. v. R. Prutz. Leipzig, 1855, Bd. 2, S. 660—662.

² Z a r n c k e Fr. Christian Reuter. Der Verfasser des Schelmuffsky. Abhandlungen der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1884, S. 457—603.

до нас лишь в редакции *B*. До второй мировой войны в Германии имелось три экземпляра этой редакции, из которых один, принадлежавший некогда Г. А. Бюргеру, находится в настоящее время в университетской библиотеке в Геттингене. Два других — Берлинский и Дрезденский — погибли во время второй мировой войны. Кроме этого, еще одним экземпляром этой редакции обладает библиотека города Итаки (США).

Точно установить, когда создана редакция *A*, — невозможно, вероятно, на рубеже 1695—1696 гг.; известно лишь, что она напечатана в августе 1696 г. Это подтверждается тем фактом, что жалоба, поданная фрау Мюллер на Рейтера курфюрсту, уже называет роман «новым позорящим произведением» и 27 августа книжный фискал представил суду семь конфискованных экземпляров произведения.

Неизвестно также, когда точно была создана и редакция *B*. По всей вероятности, она возникла вскоре после *A*, ибо комедия «Болезнь и кончина честной женщины Шлампампе», а также опера «Синьор Шельмуфский», написанные, как доказано, в начале 1696 г., перекликаются по содержанию с первой частью редакции *B*.

Различный типографский вид и шрифт двух редакций свидетельствует о том, что они были напечатаны в разных местах. Редакция *B*, как убеждает сопоставление, является более расширенным и, по мнению большинства ученых, художественно более совершенным вариантом романа³. Существенное различие сказывается уже в заглавии книги двух редакций. В *A* — довольно просто: «Любопытные и преопасные странствия Шельмуфского на воде и на суше». В редакции *B* заглавие дано в ярмарочно-балаганной, рекламной манере, в духе характера главного героя: «Описание истинных, любопытных и преопасных

³ Поэтому не совсем понятно, почему в книге: Chr. Reuter. Werke, in 1 Bd. Weimar, 1962, издатели предпочли редакцию *A* первой части. Гораздо правильней, на наш взгляд, поступило издательство «Aufbau»: Chr. Reuter. Schelmuffsky. Berlin, 1955.

странствований на воде и на суше Шельмуфского, первая часть, и притом самое совершенное и самое точное издание, собственноручно и весьма искусно выпущенное в свет на родном верхненемецком языке Е. Ш. Отпечатано в Шельмероде, в году 1696». В начале редакция *B* довольно близко держится содержания текста *A*, но по мере развития сюжета расхождения становятся все больше. То, что намечено в *A*, сыро, эскизно, становится ясней и красочней в *B*. Особенно разрабатывает Рейтер комические ситуации, вставляя детали, подчеркивая грубость своего героя. Рельефней разработан в этой редакции образ «графа». В редакции *B* язык Шельмуфского живей, повторения, задерживающие действие, устранены, изменяются конструкции фраз. Речь героя Рейтер насыщает большим количеством народных пословиц и поговорок. Формулообразные выражения, брань и заклинания Шельмуфского усилены. Немецкие слова нередко заменяются иностранными. В целом стилистические усилия Рейтера направлены к тому, чтобы создать особое единство тона речи, отвечающего внутренней сущности Шельмуфского⁴.

Еще более ярко сатирическая тенденция романа и образ главного героя выступают в другой редакции 2-й части романа, до сих пор не известной в Германии и недавно обнаруженной в Ленинграде, в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Г. И. Федоровой⁵. Здесь особенно усиливаются нападки на академические нравы и псевдоученость университетских профессоров того времени, а также более ярко выступает свободомыслие Кр. Рейтера.

Издание редакции *B*, как и произведений Рейтера, было осуществлено Г. Витковским: Кр. Рейтер. Со-

⁴ Подробно о сопоставлении редакций *A* и *B* см. J. R i s s e. Chr. Reuters Schelmuffsky und sein Einfluß auf die deutsche Dichtung. Münster, 1911; K. T o b e r. Christian Reuters Schelmuffsky. Ein Vergleich der beiden Fassungen. Wien, 1952; T o b e r K. Christian Reuters Schelmuffsky.—«Zeitschrift für deutsche Philologie», Bd. 74, H. 2, 1955.

⁵ Г. И. Ф е д о р о в а. Неизвестная редакция 2-й части романа Кристиана Рейтера «Шельмуфский».— «Филологические науки», 1970, № 5, стр. 74—78.

чинения, тт. I, II, Лейпциг, 1916⁶. Имеется и сопоставительное издание *A* и *B* с интересной статьей В. Гехта: К р. Рейтер. Шельмуфский. Параллельная перепечатка первых изданий (1696—1697)⁷.

Перевод, помещенный в настоящем издании, основан на редакции *B*.

* * *

Заглавие

- ¹ *Шельмуфский* — полонизированная форма фамилии героя, изобретенная Рейтером, что было вполне естественно в конце XVII—XVIII вв.— времени оживленных сношений между Саксонией и Польшей. Фамилия образована от немецкого Schelm — шельма, плут.
- ² ...на родном верхненемецком языке.— Указание на верхненемецкий язык, считающийся основой литературного немецкого языка,— иронический намек, так как речь Шельмуфского пестрит верхнесаксонскими диалектизмами.
- ³ *Е. Ш.*— Евстахий Шельмуфский. Евстахий — старший сын Анны Розины Мюллер, послуживший прототипом романа. См. статью, стр. 172.
- ⁴ *Шельмероде* — шутовское место издания, изобретенное Рейтером по типу весьма распространенных наименований небольших деревушек и городков в Саксонии, Тюрингии, например, Броттероде, Вернигероде, Грефенрода и др.

Посвящение

- ¹ *Великий Могол* — титул правителей Индии из тартаро-монгольской династии (1562—1761). Во времена Рейтера для успеха произведения авторы не-

⁶ Chr. Reuter. Werke, Bd. I, II., Leipzig, 1916.

⁷ Chr. Reuter. Schelmuffsky. Abdruck der Erstausgaben (1696—1697) in Paralleldruck. Halle, 1956.

редко посвящали его знатым людям. При этом хвастун Шельмуфский посвящает свое произведение одному из самых могущественных правителей мира.

- ² Агра — город в северо-западной Индии, бывший резиденцией Великих Моголов.
- ³ ...*Коим я наслаждался в продолжение целых четырнадцати дней.*— Рассказ о пребывании героя в Индии содержится в 5 гл. 1 части.
- ⁴ ...*и как, в конце концов, мне не повезло в Испанском море.*— Испанское море — старинное название Бискайского залива.

К любознательному читателю

- ¹ *Сен-Мало* — портовый город в северо-западной Франции, на полуострове Бретань.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

- ¹ *Ризен* Адам (1492—1549) — автор популярных учебников арифметики.
- ² *Господин Герге*.— В лице Герге Рейтер изобразил наставника младшего сына фрау Мюллер (см. статью, стр. 172) Георга Лейба, который составлял судебные жалобы хозяйки гостиницы, направленные против писателя. Ему же он приписал и надгробное слово в честь почившей фрау Мюллер.
- ³ ...*жир... толщиной с локоть.*— Локоть — старинная немецкая мера длины, различная в различных областях, от 57, 31 до 111,11 см.
- ⁴ *Эзельсвизе* — нем. «Ослиный луг» — шутовское название луга, изобретенное Рейтером.

Глава вторая

- ¹ ...*к закату ли солнца или на запад* — свидетельство «образованности» Шельмуфского.
- ² ...*вмещающий в этих краях от 18 до 20 мер.*— Ме-

- ра — старинная немецкая мера объема, 1—1,5 литра.
- ⁸ ...украшенный прекраснейшими шпалерами.— Шпалеры — обои или настенные ковры с изображенными на них картинами.
- ⁴ Шармант — имя произведено от франц. *charmante*, «прелестница» — явный намек на легкие нравы девицы.
- ⁵ ...на большой луг перед Альтонскими воротами.— Альтона — ныне пригород Гамбурга, расположенный в устье Эльбы и связывающий Гамбург с морем.
- ⁶ ...в левый локоть ударом «ложной квинты». — «Ложная квинта» — особый прием в фехтовании.
- ⁷ Какие бомбы лежали здесь, еще с прошлой осады! — Гамбург не подвергался осадам в XVII в. Враль Шельмуфский приписывает происшествия, известные ему из истории родной Саксонии, Гамбургу. В Тридцатилетнюю войну Лейпциг на протяжении 1631—1642 гг. пять раз переживал осаду и в 1642 г. был взят и разорен шведами.
- ⁸ Гутенбах (нем. «хороший ручей») — по-видимому, вымышленное Рейтером название ручья. Провинциал Шельмуфский со свойственным ему апломбом сравнивает небольшой местный ручей с одной из крупнейших рек Германии Эльбой.
- ⁹ ...очень редко, под Сретенье.— Сретенье — праздник в феврале, посвященный встрече праведником Симоном, жившим при Иерусалимском храме, ребенка Христа.
- ¹⁰ ...пошли всякие обычные танцы — куранда, жига, аллеманда.— Куранда — придворный салонный танец с прыжками на $\frac{2}{4}$ такта. Жига — старинный простонародный английский танец на $\frac{6}{8}$ или $\frac{12}{8}$ такта. Аллеманда — немецкий народный танец на $\frac{2}{4}$ и $\frac{3}{4}$ такта.
- ¹¹ ...я приказал скрипачам сыграть альтенбургский крестьянский танец.— Альтенбург — небольшой городок южнее Лейпцига.
- ¹² ...в этот день ставили «Разрушение Иерусалима». — Имеется в виду опера «Разрушение Иерусалима.

(I часть), или Завоевание храма (II часть)» (автор либретто Лука фон Бостель), действительно впервые поставленная в Гамбурге в 1692 г., как и опера «Осада Вены» («Счастливыи и несчастный Кара-Мустафа, или Осада Вены»), находившаяся в репертуаре гамбургского оперного театра с 1686 г.

- ¹³ *Это были хорваты и шведы, они-то и стерли Иерусалим в порошок.*— В период Тридцатилетней войны действия хорватских соединений, входивших в состав имперской армии, и шведских войск, принимавших участие в войне на стороне протестантского лагеря, отличались особой жестокостью. Невежественный Шельмуфский наивно мыслит современными ему представлениями.
- ¹⁴ *Юнгфернштиг* — аллея в Гамбурге, излюбленное место публичных прогулок. Возможно, Рейтер избрал Юнгфернштиг (нем. «аллея девиц») в целях комического намека на девицу Шармант.
- ¹⁵ *Эльстер* — небольшая река, протекающая через Лейпциг. Шельмуфский путает Эльстер с Альтстером, притоком Эльбы, на котором расположен Гамбург.
- ¹⁶ *Но как им за это оплатили саксонцы и поляки...*— 12 сентября 1683 г. польские и саксонские войска под предводительством Яна Собеского нанесли решающее поражение туркам, осаждавшим Вену.
- ¹⁷ *...и играли в городе викторию* — т. е. победный марш; victoria (лат.) — победа.
- ¹⁸ *Талер* — старинная немецкая серебряная монета. Первоначально чеканилась в Богемии, в Иоахимстале (XVI в.). Впоследствии в Германии талерами начали называться многие монеты различного достоинства.
- ¹⁹ *...в трех добрых немецких милях от Гамбурга.*— Немецкая миля — примерно 7,5 км.

Глава третья

- ¹ *Была как раз «чесночная среда».*— В округе Галле (Заале) по старинному обычаю в среду перед Троицей ели чеснок, чтобы целый год быть здоровым.

- ² *Дамиген* (верхнесакс. Damigen) — «дамочка». В XVII в. слово это имело значения: 1) юная госпожа, девушка; 2) проститутка, развратница.
- ³ *Содержание письма, и притом в стихах, было таково...*— Стихотворное послание Шармант — пародия на избитые мотивы любовноэлегической лирики прециозных поэтов.
- ⁴ *Виола кольраби* — т. е. попросту капуста.

Глава четвертая

- ¹ *Борнхольм* — остров в Балтийском море.
- ² *В это время приближался день святой Гертруды...*— Имеется в виду 17 марта, день святой Гертруды. По народному календарю, в этот день земля начинает отходить и давать тепло. Святая Гертруда считалась также покровительницей путешественников.
- ³ *Вот что он накропал...*— Следующие ниже стихи графа — пародия на прециозную лирику, например, Второй Силезской школы, — группы аристократических поэтов XVII в., выходцев из Бреславля (Гофман фон Гофмансвальдау, Каспер фон Лознштейн и др.). Их поэзия отличалась повышенным интересом к эротической теме, трафаретными образами, и картинными, чрезмерным злоупотреблением мифологией. Майя — мать бога Гермеса. У римлян отождествлялась с Фауной — богиней животного мира. Здесь: символ фауны.
- ⁴ *...он помянул даже вуаль фаты.*— Шельмуфский путает «вуаль фаты» (нем. der Flor) с богиней цветов Флорой (нем. die Flora).
- ⁵ *И притом, ведь концы должны же рифмоваться!*— Невежественный Шельмуфский знаком только с немецким народным стихом, так называемым «книттельферзом», имеющим парную рифму. Этим стихом он и пишет постоянно свои поэтические послания. Поэтому он не замечает перекрестных рифм в стихе графа, нелепо подражающего классическим стихотворным формам.

- ⁶ *Тюфель* — 1) сокращенная и ласкательная форма от имени Кристоф; 2) нем. Töffel — простофиля, дурак.
- ⁷ ...сразу же даст за нее 20 000 дукатов.— Дукат — старинная золотая монета.
- ⁸ Сначала плясали только простонародные танцы — сарабанду, жигу, балетту.— Сарабанда — испанский танец на $\frac{3}{4}$ такта. Балетта (балетто) — итальянский танец в подвижном темпе, типа аллеманды.
- ⁹ ...а затем начали играть «пляску мертвецов».— Танец этот возник из старинного народного обычая: после погребения исполнялся особый танец, символизирующий победу жизни над смертью.
- ¹⁰ *Рейтер* Михель Адриане (1607—1676) — голландский адмирал, отличавшийся в морских сражениях с английским, французским и испанским флотами.

Глава пятая

- ¹ ...и через несколько дней увидели кисельное море — сказочное, застывшее море.
- ² ...высадились на прекрасном Троицыном лугу.— Название луга, находящегося якобы в Индии, связанное с христианским праздником, изобличает лгуна Шельмуфского.
- ³ *Ризен Адам* — см. прим. 1 к гл. I.

Глава шестая

- ¹ ...ими были вооружены солдаты герцога Монмаутского.— Герцог Монмаутский (1649—1685), сын изгнанного из Англии короля Карла II, жил в Голландии и в 1685 г. попытался захватить трон, однако потерпел неудачу и был казнен.
- ² ...на котором сидел праотец наш Иаков, когда ему приснилась небесная лестница.— В Библии (Бытие, XXVIII) рассказывается о сне патриарха Иакова, который отправляется по приказу своего отца в Месопотамию за женой: ему снится, что на земле стоит лестница, а верхний конец ее упирается в небо, и ангелы восходят и нисходят по ней.

Примечания

- ³ ...где висел огромный топор, которым отрубили голову даже одной знатной персоне.— Речь идет о Карле I Стюарте, английском короле, казненном в 1649 г.
- ⁴ *Испанское море* — см. прим. 4 к «Посвящению».

Глава седьмая

- ¹ *Каперский корабль* — частное морское судно, нападающее во время войны на неприятеля с разрешения своего правительства, а также занимающееся морским разбоем.
- ² *Ганс Барт* (Jean Barth 1651—1702) — известный корсар, находившийся на службе у французского короля Людовика XIV. Рейтер заимствовал этот образ и события из хроники Э. В. Хаппеля «Суть истории, или так называемая хроника. 3-я часть», изданной одним из гамбургских издательств, которое выпустило в свет также и оперу Рейтера «Синьор Шельмуфский». В хронике приводится сообщение о морском сражении между Гансом Бартом и голландским вице-адмиралом де Врисом у фламандского побережья в ночь на 29 мая 1694 г. Барту удалось захватить 30 голландских судов, остальные 90 ушли.
- ³ *Сен-Мало* — см. прим. 1 к «Любознательному читателю».
- ⁴ ...явилось ко мне в камеру привидение.— Эпизод с привидением — явная пародия на немецкий галантно-авантюрный роман, в котором нередко можно встретить подобную фантастику.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

- ¹ ...был как раз день святого Георгия.— День святого Георгия праздновался 23 апреля.
- ² *На чужбине я совершенно позабыл свой родной язык и говорил большей частью по-английски и*

по-голландски, изредка по-немецки — сатирический выпад Кр. Рейтера против знати и подражавшего ему бюргерства, увлекавшихся всем иностранным.

- ³ *Ошибаться свойственно человеку.* — Латинская поговорка (*errare humanum est*) — свидетельство претензий невежды Шельмуфского на образованность.

Глава вторая

- ¹ *Ассигновка* — документ, по которому банком выдаются ассигнованные деньги.

Глава третья

- ¹ *...в монастырскую пятницу.* — Пятница — день строго поста в монастырях.
- ² *Площадь святого Марка* — центральная площадь Венеции, на восточной стороне которой расположен собор святого Марка, мифического покровителя Венеции.
- ³ *...но среди билетов имелись выигрыши от 60 до 70 тысяч талеров.* — История с лотереей также восходит к «Хронике» Э. В. Хаппеля (см. прим. 2 к гл. VII). В ней сообщается, что в Венеции в 1694 г. была устроена лотерея, в которой два главных выигрыша составляли сумму по 50 000 дукатов.
- ⁴ *...в один батцен.* — Батцен — мелкая южногерманская серебряная монета.
- ⁵ *Они титуловали меня... «Ваше преподобие».* — Ваше преподобие — обращение к католическому священнику и к высшему духовному лицу в протестантской церкви. Протестант Шельмуфский, конечно, имеет в виду второе.
- ⁶ *...чтобы я занял пост главного инспектора Совета Венеции.* — Герой Рейтера имеет весьма смутное представление о политическом устройстве Венеции, где существовало несколько советов, ограничивавших власть правителей Венеции — дождей. Однако должность инспектора Совета — чистая выдумка Шельмуфского.

Глава четвертая

- ¹ ...которые за один год все разом становятся докторами.— По-видимому, иронический намек на положение в Лейпцигском университете, где учился Рейтер. В 1694 г. в там было присуждено очень много магистерских степеней.
- ² ...в одном из постоянных дворов, называвшемся «Красный бык»,— сатирический намек на лейпцигскую гостиницу «Красный лев» фрау Мюллер. В этой главе еще чувствуются отзвуки нападок Рейтера на его врага.
- ³ Шрекенберг — саксонская серебряная монета в 12 крейцеров, которую начали чеканить с 1498 г. Серебро для этой монеты добывалось на руднике Шрекенберг.
- ⁴ ...что в Падуе равняется половине батцена.— Сопоставление достоинства различных монет с головой выдают Шельмуфского как невежду и лгуна: английскую серебряную монету крупного достоинства — фунт стерлингов — он приравнивает к мелкой немецкой монете.
- ⁵ Донат Элнус (ок. 450 г. н. э.) — римский грамматик, составивший учебник латинского языка, популярный в Средние века.
- ⁶ ...хватил его ударом «высокой квартиры». — Высокая кварта — особый прием в фехтовании.

Глава пятая

- ¹ жившего неподалеку от Рынка сладостей.— Рынок, где торговали сладостями (Naschmarkt), был расположен в центре Лейпцига.
- ² ...что касается звезд неподвижных.— Неподвижные звезды — звезды, движение которых можно обнаружить лишь с помощью астрономических инструментов, а не простым глазом.
- ³ ...он повел меня в большой каменный дом возле собора святого Петра.— Имеется в виду резиденция римского папы Ватикан.

- ⁴ ...коли уж пошла такая мода, что нужно их целовать.— Вольнодумец Рейтер смеется над обычаями католиков целовать из благочестия туфлю римскому папе и сатирически заостряет ситуацию: Шельмуфский целует не туфлю, а ноги папы.
- ⁵ *Селедочные ворота* — чистая выдумка Шельмуфского.
- ⁶ *Рим, 1 апреля 090 года с основания города* — шуточная дата, пародирующая традиционную формулу «в такой-то год от рождества Христова». Вместе с тем на шуточный характер даты указывает и день «1 апреля». В Германии, как и во многих европейских странах, в этот день издавна устраивались первоапрельские шутки.

* * *

*В настоящем издании
использованы иллюстрации художника
Вернера Клемке*

*(Christian Reuter. Schelmuffsky.
Berlin, Aufbau-Verlag, 1955).*

СОДЕРЖАНИЕ

КРИСТИАН РЕЙТЕР

ШЕЛЬМУФСКИЙ

(Перевод Г. С. Слободкина)

Посвящение	7
К любознательному читателю	9

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая	11
Глава вторая	19
Глава третья	45
Глава четвертая	60
Глава пятая	77
Глава шестая	88
Глава седьмая	95
Глава восьмая	101

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

К неизменно любознательному читателю .	107
Глава первая	109
Глава вторая	116
Глава третья	122
Глава четвертая	136
Глава пятая	151

ПРИЛОЖЕНИЯ

Г. С. Слободкин. Кристиан Рейтер и его «Шельмуфский»	163
Примечания (Составил Г. С. Слободкин)	201

Кристиан Рейтер
Ш Е Л Ь М У Ф С К И Й

*Утверждено к печати редколлегией
серии «Литературные памятники»*

Редактор издательства *О. К. Логинова*
Художник *С. А. Данилов*
Технический редактор *О. М. Гуськова*

Сдано в набор 29/IX 1970 г.
Подп. к печати 27/IV 1971 г.
Формат 70×90^{1/32}. Усл. печ. л. 7,75. Уч.-изд. л. 8,2
Бумага № 2. Тираж 30 000 экз. Тип. зак. 50
Цена 49 коп.

Издательство «Наука»
Москва К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука»
Москва Г-99, Шубинский пер., 10

49 коп.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»